



ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
2013



Павел АМНУЭЛЬ

**СЧАСТЛИВОЕ
ВРЕМЯ
ОТКРЫТИЙ**

(Повторение пройденного)

**Млечный Путь – SeferIsrael
Иерусалим
2015**

Павел АМНУЭЛЬ
СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

© SeferIsrael
© «Млечный Путь»
© Павел Амнуэль
Все права защищены
ISBN 978-965-7546-34-5

Printed in Israel

www.seferisrael.co.il
www.litgraf.com

Часть 1

**ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ...**

Какая хорошая память у иных мемуаристов! Читаешь порой и восхищаешься – столько лет прошло, полвека, почти вся жизнь, а вот ведь помнит человек, в каком платье была его кухня, когда они в пятилетнем возрасте полезли на шкаф (шкаф – как было тогда прилично писать это слово) и нашли там отцовскую переписку с его любовницей, тщательно спрятанную от бдительного маминого взора. И каждое слово из этой переписки мемуарист помнит тоже, хотя двумя страницами раньше вроде бы сообщил читателю о том, что читать научился лет в шесть с половиной, а точнее – в шесть лет, пять месяцев и восемь дней, и первыми прочитанными словами была надпись на окне аптеки: «Аспирин не завезли»...

Ах, как хорошо иметь настоящую память, с детства приспособленную для грядущего писания мемуаров. Или иметь склонность к дневниковым записям. Действительно, не полагаешься на память – веди дневник и начни в тот день, когда узнаешь, как пишется буква «а». Сначала в строчку «а», потом «п» и, соответственно, «па» и «ап», а через месяц глядишь, появится запись: «Папа дал мне по попе». И лет через пятьдесят, когда возникнет потребность отобразить свое детство в мемуаре, этом мраморе литературных памятников, не возникнет никаких сомнений, и автор напишет: «23 августа 1956 года я вошел в спальню к родителям, когда они занимались любовью, за что меня отлупили и сказали: «Мал еще»...

Я не вел в детстве дневник, да и в последующие годы тоже

не испытывал желания вести летопись происходивших событий. Потому помню я немного, воспоминания возникают спонтанно, как и у большинства людей.

Полагается начинать мемуар с детских лет? Ну, если полагается...



1947 год

* * *

Папа с мамой поженились довольно поздно – маме было 36, папе 40, причем для обоих это был первый и единственный брак. Мама была ростом выше папы, а он низенький, шуплый. И когда они шли по улице, выглядело это немного комично. Может, поэтому они обычно рядом не ходили – мама чуть впереди, а папа сзади. Отношения у них ровные, папа почти во всем маму слушался, у нее был сильный характер.

У мамы было 11 братьев и сестер. То есть, я знаю, что их было одиннадцать: братьев шестеро, сестер пять. Но видел я только дядю Гришу и тетю Рахиль (еще и дядю Сему, но я был так мал, что ничего не помню). Дядя Гриша прошел всю войну от звонка до звонка, дошел до Берлина, но так и остался рядовым, у него и наград было немного. К нам в Баку он приезжал пару раз и произвел на меня такое впечатление, что, когда мне было лет шесть, я ножницами выстриг у себя клок волос, чтобы прическа (залысина) моя стала, как у дяди.

Красивый был мужчина, статный, любимец и любитель женщин. К сожалению – и выпивки. На войне привык к ста фронтovým граммам, в результате стал алкоголиком...

Тетя Рахиль (старшая сестра) жила в Баку. Остальных своих дядей (кроме Семы) и тётъ я не застал в живых. Одни умерли в детстве, остальные погибли во время войны.

У папы же всего один брат, но зато близнец. Они были ОЧЕНЬ похожи, и люди, мало их знавшие, часто путали. Доходило до курьезов. Директор музея, где работал папа, как-то ехал в служебной машине по городу и увидел дядю Зяму, который куда-то шел. Вернувшись, директор вызвал папу и устроил ему головомойку – почему тот нарушает трудовую дисциплину? Потом, конечно, оба посмеялись. Таких случаев было множество.



1952 год. Жива еще была бабушка (мамина мама). Папа, мама, дядя Зяма, бабушка Фейга, я, Галя (жена дяди Гриши) и дядя Гриша.

Женились братья оба в один год – в 1942. Оба впервые, и оба – на женщинах по имени Аня. Оба умерли в один год – 1979. Оба работали в профессиях, близких к фотографии:

отец оформлял фотодокументы и был заядлым фотолюбителем, а дядя занимался ретушью; сейчас, в век фотошопа, такой профессии уже не существует. Жили в одном городе. По характеру очень похожи. В общем, близнецы.

Жили мы бедно. Отец работал в тогдашнем музее Сталина (потом он стал музеем Ленина), окантовывал в рамки под стекло документы, которые выставлялись в залах. Должность называлась «фотомонтажист», зарплата была еще та – в лучшие годы перед пенсией 90 рублей в месяц. А мама работала бухгалтером в цехе, где шили одежду по заказам, называлось это «Индпошиводежда» (сокращение понятно?), и получала еще меньше, чем отец, – 60 рублей. Жили мы в центре города, в десяти минутах ходьбы от знаменитого Бакинского Приморского бульвара. Квартира на втором этаже состояла из одной комнаты площадью 9 кв.м., коридорчика и кухоньки, где с трудом можно было повернуться. На этих 9 метрах мы втроем и жили. И еще рыбки в аквариуме. Да, и туалет – в дворе.

За стенкой (между квартирами была заколоченная дверь) в такой же комнате жила с сыном мать-одиночка, женщина тогда молодая, к ней часто приходили ухажеры, которые напивались, а я спал на топчане как раз у двери, и приходилось слышать всякое...

* * *

Первое в жизни воспоминание. Мне было чуть больше года, и мы ехали в гости к дяде Сёме. Мама повезла меня «подкреплять», потому что был я тощий и слабый. В то лето я упился парным молоком, а больше, кажется, никогда его не пробовал. Но деревню под Тулой и дядю Сему я совсем не помню. Только что закончилась война, солдаты возвращались домой с фронта (это я потом понял, а тогда, конечно, ни о чем таком не подозревал). Помню купе поезда (очень отчетливо!), и как я сидел на руках у дяденьки в военной форме (и, конечно, не знаю, был ли он солдатом или офицером).

Водили меня в детский сад Каспийского пароходства – понятия не имею, как попал именно туда (ни мама, ни папа не имели к Каспару никакого отношения), но сам садик помню хорошо. Помню, как в костюме зайца должен был выступать на новогоднем представлении. А запомнил этот эпизод, потому что как раз перед выходом в зал, к елке, мне очень захотелось в туалет. Сдержался, конечно, но запомнил...

Еще очень странное воспоминание, тоже времен детсада. Первый «сексуальный» опыт. На самом-то деле абсолютно ничего сексуального и даже эротического, если судить по воспоминаниям. Была там девочка Клара, и, когда днем наступал тихий час, наши раскладушки стояли рядом, так что легко было дотянуться друг до друга. Дети засыпали, а нам спать не хотелось, мы накрывались одним одеялом и, пока воспитательница тоже отдыхала в соседней комнате, занимались изучением друг друга. Попросту трогали в разных местах. Понятно, больше всего интересовало, чем мальчики и девочки друг от друга отличаются. Чисто познавательный интерес, никаких других мыслей не было. Так что года в четыре я очень хорошо знал, какая разница между мальчиками и девочками.

Поскольку был я ребенком слабым и плохо кормленным (обычной едой было молоко с хлебом, мацони с накрошенным в него зеленым луком и что-то еще в таком же духе), то каждое лето мы снимали комнату на дачах за городом, и мама старалась подкормить меня свежим молоком и фруктами. Денег не было, и мама занимала у подруги, которую звали Дорой, а потом весь год расплачивалась. Откуда были деньги у Доры – не знаю, помню только, что это была статная женщина в шикарном по тем временам пальто с лисьим воротником (интересно, почему мне только это пальто и запомнилось?).

Дачи помню хорошо. Точнее – пляж, песок (на Апшероне потрясающий песок), и как мы там строили из песка домики



На даче в Бузовнах.

и целые города. Приходили на пляж рано утром, когда еще было немного людей и не жарко. Плескаться у берега в тихом море было огромным удовольствием. В десять становилось жарко, и мы уходили домой, в прохладу – сидели под инжировым деревом в саду или в маленькой комнате, которая и называлась «дачей». Часов в пять вечера опять отправлялись на пляж – наступала вечерняя прохлада, а море, наоборот, прогрелось за

день, и вода была очень теплой, как в ванне...

Мы с мамой были на даче все лето, а папа работал и приезжал обычно на выходные, иногда и на неделе вечером, чтобы рано утром уехать в город.

Летом перед школой поехали отдыхать в станицу Александровскую где-то на Северном Кавказе. Почему именно туда? Спросите что-нибудь полегче... Деревня как деревня, во дворе бегали кура и поросята. Но чем-то Александровская, видимо, отличалась, потому что, кроме нас, там были и другие отдыхающие. Запомнилась женщина с сыном моего возраста, а может, даже на год моложе. Мальчик лет пяти бегал за мамой и кричал во весь голос: «Пива! Хочу пива!»

Первая моя школа была начальной – там было только четыре класса. Довольно далеко от дома, но рядом с папиной работой – Музеем Сталина. Утром он меня отводил в школу, после уроков я шел к нему, и вечером мы вместе возвращались домой. Музей стоял на высоком месте: море до самого горизонта и прибрежная часть города были как на ладони.

Там я видел полное затмение солнца. Было это 30 июня 1954 года (дату я, конечно, не запомнил тогда, много позже посмотрел в Астрономическом календаре).

Было часа три дня. Постепенно начало темнеть, солнце вроде и светило, но как-то тускло, хотя облаков не было. Папа закопчил несколько фотографических пластинок, через них мы и смотрели. Начали выть собаки, к ним присоединились со своим мявом кошки, и солнце исчезло, остался черный круг, окруженный короной. Такое ощущение, будто мир выключился, и ты находишься в пространстве, которого вообще-то и не существует. Очень темное фиолетовое небо, высоко над морем черный круг солнца, а вокруг яркая корона. И воют собаки, кошки, петухи орут, люди тоже перекрикиваются... Нет чтобы в тишине любоваться! Так продолжалось минуты две, а потом сразу стало светло, как только появился первый луч...

Еще помню смерть Сталина. Нас собрали в коридоре школы, и помню, как дико зарыдал вдруг мальчик из нашего класса. Звали его Толик, и был он немного ущербный, глаза навывкате, и левая рука странно сгибалась в локте. Я на него смотрел удивленно, думал: ну и чего? Умер и умер... Папа у меня был истовым коммунистом, а мама принципиально беспартийной. В тридцать седьмом посадили мужа ее старшей сестры Рахили, и мама рассказывала, что о нем долго ничего невозможно было узнать, а однажды прислали его вещи с сообщением, что он умер. Тетя Рахиль стала вещи тщательно перебирать, потому что была почему-то уверена, что там должно быть письмо. Ничего не нашла, и, уже почти извершившись, вытащила из трусов резинку и обнаружила намотанный на нее клочок папиросной бумаги, на котором были написаны два слова на идише: «Не виновен». Сколько я себя помню, мама всегда называла Сталина сволочью, а папа на нее кричал, что она ничего не понимает...

Маме приходилось и лицемерить – как многим в те времена. Как-то она взяла меня с собой на собрание (профсоюз-

ное?), где ей нужно было выступить с речью от своего цеха. Содержание речи я, конечно, не помню. Было это уже после смерти Сталина, но у власти в Азербайджане все еще находился такой же ирод местного разлива: Багиров. Как сейчас помню: в конце выступления мама воскликнула: «Да здравствует верный продолжатель дела Ленина-Сталина Мир Джафар Багиров! Ура!» И все закричали «Ура!» Я потом спросил ее, зачем она это кричала, если Сталин и Багиров – сволочи. Наверно, мама что-то ответила, но ответа не помню.

Книг у нас в то время было немного. Отчетливо помню тонкую, в оранжевой обложке, «Повесть о корейском мальчике» – эту книжку мама читала вслух, когда пыталась заставить меня хоть что-нибудь поесть. А еще была десятитомная «Малая Советская Энциклопедия», издание конца двадцатых годов. Я ее внимательно рассматривал, еще не умея читать, привлекали фотографии, карты, рисунки. Много было заклеенных мест. Крепко заклеенных – синяя плотная бумага на столярном клее. Заклеенных так, что отдрать можно было только вместе с книжным листом. Долгое время я не знал, что это означало, отец на мои вопросы не отвечал, и только после XX съезда я понял, что на заклеенных местах находились статьи о «врагах народа», репрессированных уже после выхода в свет Энциклопедии.

* * *

В день похорон Сталина занятий в школе не было, и я стоял в почетном карауле в вестибюле музея. Венков принесли столько, что всё было ими завалено, а стены увешаны венками до самого потолка. В час дня завывли трубы всех заводов на разные голоса, и всё кругом замерло. Это в Москве начались похороны.

Музей Сталина, где работал отец, был огромен. Перед входом возвышалась статуя вождя. А в вестибюле стоял черный мраморный монумент – Сталин и Ленин в Горках. Три

этажа экспозиции – картины, документы, фотографии, макеты, предметы быта. Было на что смотреть. Проводя каждый день в музее, экспозицию я знал, конечно, наизусть. Отец занимался оформлением документов и фотографий – делал паспарту, рамки и так далее. Отлично помню запах столярного клея, плитки этого клея, которые отец варил в специальной печке... Помню буфет музея, где мы покупали на обед бутерброды и кефир (точнее, грузинское мацони, похоже на кефир, но вкуснее).



Каждый день в музей приносили или присылали подарки, предназначенные Вождю: большие, ручной работы, ковры с изображением Сталина, хрустальные вазы, различные самоделки. В Москву это добро, конечно, не отправляли. Все подарки хранили в специальном помещении в подвале, и экспозиция этого «музея», куда никого не допускали, постоянно пополнялась.

До XX съезда в музее все оставалось по-прежнему. Только подарки Сталину перестали приносить. После XX съезда музей начали срочно менять. Первым делом сбросили монумент Сталину перед музеем – высотой он был с четырехэтажный дом, камень ломали несколько дней, а пустой постамент стоит до сих пор. Потом дошла очередь до экспозиции, и у отца появилась масса работы – надо было все документы менять, убирать документы с именем Сталина и выставлять все, что касалось Ленина. Но это еще ладно, документов в запасниках было достаточно. А что делать с картинами и скульптурами, которых было много в каждом зале?

Это были, в основном, огромные полотна: средний размер метра три на четыре. «Сталин на заводе Коммунарков», «Сталин в колхозе», «Сталин в Кремле» и Сталин где угодно. Сотни картин! Бакинские художники прекрасно на этом зарабатывали. И тогда их опять призвали. К тому же, там были картины не только со Сталиным, но с Берия, Кагановичем, Маленковым, Молотовым... А они уже успели стать врагами народа... Все картины переписали. Не целиком, конечно – только лица. Вместо Сталина появлялся Ленин – «Ленин на заводе Коммунарков» и так далее. Вместо толстого Маленкова рисовали толстого Хрущева, из Кагановича делали Булганина и так далее. А потом расстреляли Багирова, местного Сталина, его изображения тоже переделывали. Художники обогатились по второму разу, причем очень быстро – ведь все делали в спешке после съезда, месяца за три всю экспозицию поменяли!

А что делать с подарками? Хранить это добро уже не нужно было, и ковры с хрустальными вазами стали дарить работникам музея на дни рождения, к выходу на пенсию, к праздникам... Так у нас дома появились несколько хрустальных ваз – пару мама тут же выбросила, потому что на хрустале были портреты вождя. Но штуки три еще долго стояли, пока не побились. С коврами было хуже – почти все они были огромными, и почти на всех были портреты вождя. Кто повесил бы такой ковер у себя дома при всей любви бакинцев к коврам на полу и стенах? Два хороших небольших ковра подарили и отцу. Долго они висели у нас на стене в большой комнате, но со временем выцвели, работа оказалась не такой уж качественной. К восьмидесятым годам мама их выбросила, вида у них уже не было, да и выбивать из ковров пыль никто не хотел...

В конце шестидесятых для музея Ленина построили новое здание около Приморского бульвара, там всю экспозицию сформировали заново, опять кого-то в кого-то перерисовывали...

вали, а в бывшем музее Сталина-Ленина устроили Дворец пионеров.

А я после четвертого класса перешел в другую школу – уже близко к дому, туда я уже сам ходил. Это была одна из лучших школ в городе, и номер у нее был соответствующий: школа № 1. Тогда у меня появился друг – лучший и надолго, Саша Михайлов. В седьмом классе к нему прилепилась кличка Тромбон, с ней он и живет до сих пор. У меня была кличка Пибл, а Арифа Джафарова, третьего в нашей компании, называли Жирафом. И не спрашивайте, почему прозвища были такими. Саша ничем не напоминал тромбон, да и не играл никогда на этом инструменте, Ариф совсем не был похож на длинношеее, а что означает Пибл, я не имею ни малейшего представления. Может, забыл, а может, и тогда не знал.

Тромбон жил в квартале от нашего дома, и квартира у Михайловых была совсем другая: две большие комнаты, потолки под четыре метра высотой, мебельные гарнитуры, даже телевизор был с маленьким экраном. Отец Тромбона был полковником, служил в Германии, после войны оставался комендантом небольшого городка, а демобилизовавшись, переехал с семьей в Баку и устроился заведующим военной кафедрой в Институт физкультуры. С Тромбоном мы подружились. Он после школы ходил в Окружной Дом офицеров учиться играть на кнопочном аккордеоне. Тромбон много репетировал, а я слушал. Он разрабатывал пальцы на скорость, по сто раз играл Чардаш Монти, «Полет шмеля» Римского-Корсакова, увертюру к «Руслану и Людмиле» Глинки... Как-то он решил побить рекорд. Обычно увертюра к «Руслану» звучит минут пять, а он задался целью сыграть без ошибок за четыре. А «Полет шмеля» – за пятьдесят секунд вместо пятидесяти шести. И сыграл, в конце концов. Спорт, а не музыка, в общем...

Когда они жили в Германии, Тромбон с местными мальчишками соревновался: кто больше выдержит, глядя, не



С Тромбоном на Приморском бульваре.

мигая, в фары автомобиля. Из-за этого зрение у него стало очень плохим: сильнейшая близорукость, десять диоптрий, а может, больше.

И в оперу меня Тромбон затащил, а я сопротивлялся. Мне нравились со-

ветские песни, какая еще, на фиг, опера? Скукота. Но он меня уговорил и потащил на «Травиату». В тот день пели гастролеры: румын Николае Херля пел Жермона, а американка Роберта Питерс – Виолетту. И молодой бакинский тенор Ибрагим Джафаров – Альфред. Голоса замечательные, сейчас у меня есть много записей опер и с Херлей, и с Питерс, так что могу уже точно судить. А тогда впечатление было шоковое, будто в новый мир попал. С того вечера мы стали ходить в оперу почти на каждый спектакль. Дважды в неделю точно. Иногда чаще. На гастролы – всегда. И на премьеры, естественно. Но об опере – отдельный разговор.

* * *

Завучем у нас был Мартын Ервандович Дадаян, замечательный человек (а были ли у нас в школе не замечательные учителя?). На фронте он лишился обеих ног. После войны прошло тогда всего 15 лет, и он был еще молодым, когда мы у него учились – лет сорок с небольшим, – но мне казался старым и солидным. Ходил он на протезах, с палкой. Костылей не признавал. Советские протезы тех еще лет – представляю, какое было мучение на них ходить, переставляя «ноги», как на ходулях. А он ведь взбирался на второй и тре-

тий этаж несколько раз в день, и этажи в школе, здании старой постройки, были высокими...

Преподавал Мартын Ервандович историю и очень интересно рассказывал. Мы с Тромбоном любили после уроков иногда заходить к нему в кабинет и поговорить «за жизнь». Он нам рассказывал о войне, но никогда не говорил, как случилось, что пришлось ампутировать ноги. А мы не спрашивали. Впрочем, все и так знали, конечно – рассказали другие учителя. Снаряд разорвался, было это в 1943 под Курском.



М.Е. Дадаян

Мы с Тромбоном и после окончания школы довольно часто захаживали к Мартыну Ервандовичу поговорить. Мы учились в университете, и он разговаривал с нами иначе, как с равными, жаловался на власти, на бюрократию, на РОНО, которое не дает дыхнуть. Даже о женщинах говорили, чего в наши школьные годы он, конечно, себе не позволял. Помню, меня поразило его замечание. Говорили о том, какие красивые девушки в Баку (это так!), и он сказал: «Ну, ведь ты, когда на девушку смотришь, ты ее взглядом раздеваешь»... Я-то думал, что я один такой и страшно этого стеснялся, думал, что это какое-то извращение. А оказывается, нормальная мужская реакция...

У него была машина – «москвич» с ручным управлением. Однажды он рассказал, как ехал за городом по Апшеронскому шоссе, впереди был пост ГАИ, и вдруг мимо на огромной скорости промчалась «волга» – не правительственная, обычная. «Я, – рассказывал Мартын Ервандович, – напрягся, думаю, сейчас его остановят. И действительно, вышел на дорогу гаишник с жезлом, махнул. А тот едет, не снижая скорости. Когда «волга» проезжала мимо гаишника, вижу: белый комок вылетел из правого открытого окна машины и

упал на дорогу. Гаишник спокойно подошел, поднял, развернул, положил в карман и пошел себе на место. Я как раз мимо проезжал. Не знаю, сколько тот гаишнику кинул. Сотню?»

В общем, ГАИ как брало, так и сейчас берет.

Физкультуру вел Анатолий Александрович Чумаков. Здоровый мужик, под два метра. Похож был на майора Пронина, каким его изображали в шпионских романах. К каждому ученику у него был свой подход, и каждому он давал упражнения по силам – мне, в частности. У меня был порок сердца, мне вообще запретили физкультурой заниматься, но он все-таки заставлял меня что-то делать.

Как-то из зала украли несколько мячей, и после этого Чумаков стал, запирая зал, с внутренней стороны подставлять под дверь металлическую трибуну, такую, на которой сидит судья во время волейбольного матча. А сверху еще ставил металлическую стремянку. Если бы кто-то, не знавший об этой конструкции, открыл снаружи дверь и попытался войти, стремянка упала бы ему на голову с понятными последствиями.



А.А. Чумаков

Однажды Чумаков выпил (бывало это с ним) и пришел в школу вечером что-то в зале забрать. И поскольку был выпивши, забыл, что за дверью его ждет стремянка. Открыл и получил по голове. Поднял стремянку, посмотрел вверх, процедил что-то сквозь зубы и водрузил на место. При этом присутствовал сторож, который и рассказал об этом случае. Умер Чумаков через несколько лет после того, как я окончил школу. Ездил с учениками в бассейн общества «Динамо» и плавал с учениками вместе. И так получилось, что его ударило под водой током. Понятия не имею, что там было. Оголенный провод? Каким образом? В общем, умер он

на месте... Странно играет судьба с людьми.

После восьмого класса отправили нас в совхоз, в село Ивановку, на прополку виноградников. Практика такая – научиться тяпкой махать. С нами поехали классные руководители, а у нас, в восьмом (потом девятом) «б» классным руководителем был учитель биологии Михаил Моисеевич Гуревич. Обаятельный человек. Кабинет биологии располагался на третьем этаже, в закутке, к которому вела очень узкая, чуть ли не винтовая, лестница, там вдвоем было трудно разойтись. Кабинет же был огромный, там стояли десятки заспиртованных (или в формалине?) органов разных животных, множество чучел. Больших – тигров, скажем, – не было, но всякой мелкой живности огромное количество. И десяток клеток с попугайчиками, черепахами, белками. Всем этим хозяйством Михмос (так мы его называли) управлялся с нашей же, понятно, помощью. Ходить ему было трудно из-за хромоты, причину которой я или уже не помню, или вообще никогда не знал. Хромал он не так уж сильно, но тащить тяжести ему было трудно, а портфель у него был огромный и тяжелый, и носил его Михмос в школу каждый день. Точнее, не сам носил, а кто-нибудь из учеников. Проблем у него не было – выходил утром на улицу с портфелем, и непременно попадался кто-то, кто тоже шел в школу. Он портфель и носил до школы. После уроков все повторялось, только на этот раз портфель нес ученик из класса, у которого биология была последним уроком. С портфелем была связана тайна, которую мы хотели раскрыть: ЧТО в портфеле находилось? Почему он был таким тяжелым? Никто никогда не видел внутренностей портфеля. Возможно, Михмос его и открывал, но никто из класса этого ни разу не видел. Никогда ни-



М.М. Гуревич

чего при нас он не доставал и не клал внутрь. Так ЧТО же там было?

Тайна все-таки разъяснилась, да никакой тайны на самом деле не было. Однажды Михмос забыл запереть портфель на ключик, как он обычно делал, и, когда он вышел из кабинета, кто-то набрался смелости и открыл портфель. Ничего необычного: книги, учебники, тетради... И тут кому-то пришла в голову «блестящая» идея: если Михмос портфель не открывает, давайте вытащим оттуда книги и положим кирпич. Увидит он? А вдруг нет, и будет ходить с кирпичом в портфеле?

Так и сделали, не подумав, что оказываем медвежью услугу не Михмосу, а себе же. Забыли, что тащить портфель все равно придется кому-то из нас. И таскали, проклиная идею эксперимента. Но главное – мы так и не узнали, увидел Михмос кирпич в портфеле или не увидел! Недели через две опять подкараулили, когда Михмос вышел из класса, заглянули в портфель – кирпич был на месте. Сам Михмос и виду не показал, что ему что-то известно. Эксперимент прошел безрезультатно. Кирпич вытащили.

В восьмом классе по биологии мы проходили анатомию человека. Все было нормально – изучили кровеносную систему, мышцы, внутренние органы... К концу учебного года осталась последняя глава: детородные органы. С каким нетерпением мы ждали момента, когда дойдет дело до этой главы! Как Михмос станет при девочках объяснять устройство детородных органов мальчиков – и наоборот. Тромбон заранее подготовил десятка два вопросов. Девочки делали вид, что их это не интересует. Наконец, на очередном уроке, по идее, мы должны были перейти к последней главе.

Но Михмос вывернулся! Был уже май, он оглядел нас суровым взглядом и сказал, что программа была насыщенная, а скоро конец учебного года, и мы должны успеть все повторить, иначе позабудем пройденное. И вместо последней

главы мы стали пройденные повторять. Можете представить наше разочарование! Девочки хихикали, а Тромбон не удержался и все-таки вылез с вопросом: «Почему последнюю главу не проходим?» Михмос смерил его мрачным взглядом и спросил: «А разве там есть еще глава?»

Так мы и остались в неведении относительно устройства детородных органов. На самом-то деле все, понятно, прочитали первым делом именно эту главу, когда получили новые учебники, перейдя в восьмой класс.

У нас были замечательные преподаватели физики и математики: физику вел Бабкен Егишевич Арустамов, а математику – Эсфирь Израилевна Мантель. Она меня все время подбивала поучаствовать в какой-нибудь математической олимпиаде, а я отказывался. Не был в себе уверен, несмотря на «отлично» по алгебре и геометрии. Один-единственный раз я поддался на уговоры и в десятом классе (а учились мы тогда 11 лет) попал на городскую математическую олимпиаду. Закончилось это конфузом.



Э.И. Мантель

Задач было три, и времени на решение – три часа. В классе, где мы сидели, часов не было, так что время я проверял по своим наручным часам – тем, что купил год назад на свой первый гонорар. Задачи не показались мне особенно трудными, я сидел, размышлял, как лучше написать. Посмотрел на часы и ахнул: оказывается, прошло уже два с половиной часа, а я и не заметил! Надо спешить! Огляделся – все сидят, спокойно пишут. Пришлось быстро-быстро записать все решения, и, когда на моих часах оставалась минута до окончания, я встал и пошел сдавать листки. На меня удивленно посмотрели, и председатель комиссии спросил: «Уже? Так быстро?» Я не понял: где ж быстро, уже время! Отдал

листки и вышел. Коридор был пустой, и я удивился: почему никто не торопится? Посмотрел на большие часы, висевшие на стене, и только тогда понял: оказывается, прошел всего час! Секундная стрелка на моих часах вращалась, как ошпаренная. Не знаю почему, не знаю, какая биофизика сыграла роль, но мои часы, в которых я был уверен больше, чем в себе самом, начали в тот день (именно во время конкурса!) идти втрое быстрее! Через пару часов после этого они опять пошли нормально – чуть ли не секунда в секунду. Как объяснить этот феномен – не знаю. Может, на часы подействовало мое нервное состояние? Не хочу гадать.

Вернулся я домой, уверенный в том, что написал фигну, и, конечно, призового места не займу.

Результат стал известен через неделю. Занял я третье место. Но! Две задачи я решил правильно, как в учебнике. А третью, которую решал второпях, за минуту до «конца» срока, я решил тоже правильно – в том смысле, что получил правильный ответ. Но никто не мог понять, КАК я его получил. Там была какая-то числовая последовательность, и нужно было найти ее сумму. Существовала формула, которую надо было использовать. А у меня написано было всего три строчки текста без единой формулы. Что-то вроде «поскольку первый член равен тому-то, а коэффициент... то...» и дальше сугубо логически был выведен ответ. Правильный. Случайно написать это число было невозможно. Меня потом позвал председатель комиссии, и они с Мантель пытали меня, чтобы я объяснил, что я имел в виду, как пришла мне в голову идея логического решения. Я не смог, за что мне и снизили балл...

После этого стресса я больше на олимпиады не ходил.

В школе у нас был военрук, хороший дядя, но не очень умный. Ребята любили над ним подшучивать. Шуток он не понимал, и ко всему относился серьезно. Скажем, занятие: ориентирование на местности. Как определять страны света по мху на дереве, по солнцу...

Вызывает он кого-то из класса и просит рассказать, а тот вместо ответа спрашивает:

– А что делать, если солнца нет?

– Тогда по звездам.

– А если нет звезд?

– Тогда по мху.

– А если пустыня, деревьев нет?

– Тогда по камням.

– А если и их нет? И вообще ничего нет? Ни солнца, ни мха, ничего! Пусто!

Немая сцена. Об этом, похоже, он не думал. О таком случае в учебнике не сказано.

– Так, – говорит, – не бывает, чтобы вообще ничего не было.

– А если...

– Садись, двойка!

– За что??

* * *

Тромбон учил меня, как общаться с девушками. Ничему не научил, да и можно ли этому научить? Характер надо было менять, а не методам учиться. А характер у меня стал меняться разве что годам к двадцати пяти, да и то медленно. Во всяком случае, девушке, которую любил в школе, я сумел признаться в любви только на пятом курсе, когда поздно было – она не то чтобы была влюблена в другого, но в голове у нее уже сложился образ будущего мужа, явно не похожий на меня.

Поскольку на практике с девушками долго ничего не получалось, то много душевных сил уходило на самокопание и попытки не думать о девушках, поскольку «первым делом самолеты». Занимался самовоспитанием и сам себя учил тому, что надо делать в жизни. Прежде всего – самодисциплине. Классе в седьмом завел тетрадку, и если девочки в этом

возрасте вели дневник, то я записывал приказы самому себе: сделать то-то и то-то к такому-то числу или дню недели. Приходил назначенный день, я открывал тетрадку и смотрел – сделал или нет. Если нет – записывал самому себе в тетрадку выговор. Обычный или с предупреждением. Если приказ был выполнен, то записывал себе благодарность от себя. Слава богу, благодарностей было больше, чем выговоров. Если бы получилось иначе, то интересно, что бы я сделал, записав себе выговор с последним предупреждением? Сейчас об этом вспоминать смешно, но тогда я ко всему относился очень серьезно. Раз приказал – надо сделать, хоть тресни. Возможно, это не так, но мне кажется, что именно той детской игре я обязан тем, что потом и сейчас старался и стараюсь не давать обещаний, которые не могу выполнить.

Один из приказов был: написать фантастический рассказ. О космосе, конечно. Я уже посещал астрономический кружок и потому писать мог только о звездах и космосе. Тогда в газетах печатали данные о том, когда над каким городом будет пролетать спутник, чтобы в назначенное время каждый мог посмотреть в указанном направлении и увидеть пересекающую небо не очень яркую звездочку. Я тоже, естественно, выходил и смотрел. И однажды увидел. Правда, не в то время, что было указано в газете. В газетах был адрес, куда надо было писать и указывать точное время наблюдения. Это как бы помогало уточнять орбиту. Увидев звездочку, я засекаю время и написал письмо по указанному в газете адресу. К своему удивлению через месяц получил из центра управления полетами письмо на официальном бланке, где была благодарность за наблюдение и добавка: «Вы наблюдали ракету-носитель». Мне просто повезло – ведь время пролета ракеты-носителя (а она тоже вышла на орбиту вместе со спутником, но двигалась отдельно) в газетах не указывалось.

Итак, дав себе приказ сочинить фантастический рассказ, я написал в школьной тетрадке, как на некую планету приле-

тел земной звездолет, космонавты вышли, обнаружили тоннель, полезли туда, вышли в какую-то комнату... Они должны были там что-то обнаружить, но что? Моя фантазия иссякла, и рассказ остался незаконченным. В назначенный срок я записал в тетрадь выговор, поскольку приказ выполнен не был.

Перечитав свой первый опус, я понял, как мне показалось, понял, почему получилась мура. «Потому, – решил я, – что я пытался придумать что-то свое, а для начала этого делать не надо, надо руку набить. Надо научиться хотя бы предложения складно составлять, а не воображать себя Ефремовым или Беляевым». И потому следующий опус оказался мозаикой из того, что знал. Нужна была идея для рассказа. А я читал тогда всю фантастику, какую печатали в журналах «Техника – молодежи» и «Знание – сила». В «Знании – сила» мне очень понравился рассказ Георгия Гуревича «Инфра Дракона». О том, как наши космонавты обнаружили неподалеку от Солнечной системы невидимую звезду, настолько холодную, что светила она только в инфракрасном диапазоне. Такие наполовину звезды, наполовину планеты сейчас действительно обнаружили и довольно много, правда, не в окрестностях Солнечной системы, а гораздо дальше. Называют их суперюпитерами. Но это сейчас, а в 1958 году идея суперхолодной звезды была фантастикой. Эту идею я и присвоил, но сделал наоборот: в моем рассказе не наши космонавты летели к инфракрасной звезде, а разумные обитатели инфры посещали Солнечную систему. Прилетели, попытались связаться, не получилось, и улетели. Рассказ назывался «Икария Альфа».

Сюжет вполне примитивный. Главный герой был по нынешним понятиям анекдотичным. Это было скопище всех возможных в те времена штампов. У нас ведь жилось хорошо, а в Америке плохо? И американские коммунисты только и думали, как свалить в СССР? Ведь об этом писали

в «Правде»! Герой мой был сыном именно американского коммуниста, удравшего в СССР от гнусной капиталистической жизни. А еще у нас писали, что там негров угнетают. Вот герой мой и был тем самым негром, о чем и объявлял в самом начале рассказа. «Здрасьте, – мол, – я негр».

В общем, с героем и сюжетом все ясно. То есть, это сейчас ясно, а тогда я искренне думал именно так, как писал, а писал о том, что думал: у нас лучшая в мире страна, американцы спят и видят, как бы переехать на ПМЖ к нам и участвовать в нашей космической программе.

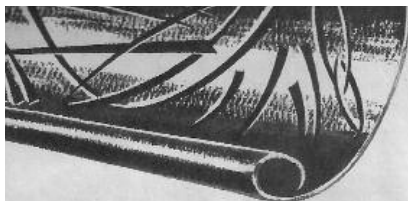
Я аккуратно переписал рассказ в тетрадку и отправил в «Технику – молодежи». Сейчас не помню, почему туда, а не в «Знание – сила». Может, подсознательно совесть говорила? Идею увел из рассказа, опубликованного в «Знании – сила», вот и отправил свой опус конкурентам.

Отправил я тетрадку с рассказом в мае и ответа, насколько помню, не ждал вовсе. Летом мы всем классом отправились на сельскохозяйственную практику – в село Ивановка, где жили потомки сосланных на Кавказ еще при Екатерине староверов-молокан. Пропалывали виноградники, неплохо проводили время по вечерам.

Когда вернулся домой, меня ждало письмо из «Техники – молодежи». Письмо, конечно, тоже не сохранилось, хотя хранил я его долго, как и другие письма из редакций. Но как-то мама (уже в восьмидесятых годах) делала генеральную уборку и выбросила кучу ненужных, по ее мнению, бумаг, в том числе и письма из редакций. Текст того первого письма я, впрочем, запомнил, тем более, что письмо было короткое:

«Дорогой Павел! Редакция получила твой рассказ «Икар-рия Альфа». Рассказ редакции понравился. Он будет опубликован в № 10. С уважением, редактор отдела фантастики Ю. Келер».

Сказать, что я удивился, значит – ничего не сказать. Первого сентября я притащил письмо в школу и всем показы-



НАУКА И ФАНТАЗИЯ

Научно-фантастический рассказ

ПАВЕЛ АМУЗЬ

Рис. Р. АВОТИНА

Расскажите представится. Меня зовут Сигалетт Дюнис. Я иер. Родился в Америке, в небольшом городке на берегу Миссури несколько недель спустя после того, как отправился в полет являясь спутником Земли. Этому роботу я и обладаю своим несколько странной манеры. Мой отец был физиком и работал в Балтиморском университете. Когда мне было два года, он имел счастливую возможность выступить в поддержку требований о запрещении ядерного оружия и попался за это вдобавок еще борясь за мир и как иер. Он потерял работу, и наша семья не имела больше средств к существованию.

Четыре года спустя отправился в СССР в составе нитрической делегации. Эта поездка изменила всю мою жизнь, потому что отец принял советское подданство, и мы с матерью, с трудом получив визы на выезд, уехали к нему. В Советском Союзе мы жили в Москве, отец работал в научно-исследовательском институте, а поступил в школу. Я быстро научился говорить по-русски, и учился на затворнике иена.

Дальше моя история не представляла собой ничего особенного. Закончил школу, работал, продолжал учиться. Теперь в радионизацию, работаю на Кавказской моноферной станции, занимаюсь проблемой рачноуправления моноферных ракет.

Вот и все моя биография. Я читал все по просьбе Барского. Он говорил, что, зная мою историю, читатель лучше поймет меня. Я не согласен с ним, но все же спорах не буду. Пусть так. Вы, наверно, знаете Барского? Барский — великим после того события, о котором пойдет речь дальше. Это событие было в свое время предметом обсуждения ученых всего мира.

Наверно Барский сказал мне:
— Знаете, Дюнис, было бы хорошо, если бы кто-нибудь написал рассказ об Икарин Альфа. Может быть, вы сделаете это?

Рассказ, который вы публикуете, написан учеником 8-го класса багратионовской школы № 1. Автор рассказа — монисомале, Емму 15 лет.

30

Я согласился и написал все, что помнил.
И вот рассказ, плохой или хороший, скучный или интересный, но, во всяком случае, без выдуман и правдивый — перед вами.

«Что произошло семь лет назад. Мне было тогда всего три года, и недавно приехал на Кавказ и был там очень интересной работой.

Свободное время я проводил в мастерской, где кто-то телевизоры и приемники. В то время я как раз занимался построением телевизора, имеющего нестандартную антенну той конструкции. С ее помощью можно было смотреть радио почти вся станции Земли.

В тот памятный вечер я смотрел Москву. В клетку в дачи меня вдруг вывели на стартовую площадку. Там я медленно толкнул стержень антенны, но на обратном это произошло.

Оказалось, что в одной из головок и стержню радио не строит система телеуправления. Мне долго пришлось прощупать, пока я нашел неисправность. Когда я вернулся к себе, часы показывали уже ночь. Передача на Москву закончилась, и экран был густ.

Я уже собирался выключить телевизор, как вдруг экран наполнился разноцветными полосами. Они поплыли вместе, расширились, превратились в виде зигзагов, распались на множество мелких параллельных линий, быстро мелькавших сверху вниз. Постепенно полосы распались, и слова превратились в хаотичный беспорядочный узор. Набравшие продолговатые эллипсы разбавили, все стороны, образуя сложный, непонятный рисунок. Мне пришлось распорядиться правые линии самой различной толщины, когда в узорках, что стержень антенны теперь вертикально вверх, куда-то в зенит, туда, где сияла гирлянда светом Веса.

«Что это значит, — подумал я, — может быть, какой-нибудь радиосигнал, станция на поверхности?»

Потом мне пришла в голову мысль скотозащитного изображения. Это было сделано в одну минуту. После этого в себя телефонную трубку и позвонил начальнику моноферной станции Смирнову. Несколько минут спустя Смирнов был у меня. Он подошел к телевизору и долго разглядывал изображение.

— Ну что? — спросил я.

Начальник взглянул в мою сторону, кивнул и сказал мне, словно готовясь к длинному ответу. Я вздохнул, когда он произнес только три слова:

— Это не Земля!

— Не Земля! — переспросил я, удивленный тем, что слышал.

— Нет. Это впервые ведется не с Земли. Ясно?

— Может быть, спутник?

— Спутны со спутником исключены. Он являлся на той, вполне определенной орбите. Об этом между государством и наблюдением путника существует определенное соглашение.

Передать мне с Земли! Но в таком случае откуда? Я просительно посмотрел на Смирнова. Он вдруг сказал, что объясню своим наставником.

— Марс? Не может быть... Нет!

— Почему? Да потому, что Марс сейчас находится в горизонте, и ультракороткие волны, как вы знаете, распространяются приповерхности.

Помолчу, он медленно продолжал:

— Я не вижу никакого смысла в этих заявлениях. Но я мнил сейчас одну вещь... Скажите, ваш телевизор подается автоматический? Значит, если станция будет находиться на известном расстоянии вперед за ней, я могу изменить длину волны, на изображении это не отразится. Отлично. А теперь смотрите сюда.

Он тронул пальцем в приборный щиток и произвел:

«Положение станции относительно горизонта: широта тридцать семь градусов, земное расстояние от наблюдателя тридцать шесть минут. Длина волны — тридцать миллиметров».

— Двадцать девять, — поправил его я, взглянув на прибор.

— Вы правы. Теперь двадцать девять. Нет, уже двадцать восемь, теперь пятьдесят. А земное расстояние — двадцать градусов? Теперь вы видите! Станция движется и

вал. И честно говоря, не верил в то, что рассказ напечатают, пока уже в начале ноября, как раз перед праздниками, не вытаскил свежий октябрьский номер из почтового ящика (естественно, мы подписывались и на «Технику — моло-

дежи», и на «Знание – силу», это было в те годы трудно, но папа работал в музее Ленина, и у них были свои «лимиты» на подписку). Рассказ занимал четыре журнальных полосы, там даже были иллюстрации, а под заголовком в рамочке было написано: «Рассказ, который мы публикуем, написан учеником девятого класса Бакинской средней школы № 1. Автор рассказа комсомолец, ему 15 лет». Будто так важно было, что автор – комсомолец! Все старше 14 лет были комсомольцами, эка невидаль. Вот если бы по какой-то причине меня не приняли в комсомол, это было бы необычно и достойно упоминания...

Журнал я тоже, конечно, притащил в школу и сейчас совсем не помню, как реагировали одноклассники и учителя на эту публикацию. Помню другое: как еще через месяц получил на почте денежный перевод – свой первый гонорар: 1322 рубля. Мне это казалось огромной суммой, но ведь дело было еще до денежной реформы, и «на самом деле» это было 132 рубля, чуть меньше месячного оклада мамы и папы вместе. Деньги я, понятно, отдал маме, половина пошла в домашний бюджет, а на оставшиеся я купил первые в своей жизни настоящие наручные часы «Полет». Те самые, что год спустя так коварно подвели меня во время математической олимпиады. Этот физический феномен мне и до сих пор непонятен: и до, и после того злосчастного дня часы ходили прекрасно. Носил я их долго – лет двадцать.

Воодушевившись, я принялся строчить рассказ за рассказом. Следующий рассказ назывался «Ветка сирени», его я тоже отправил Келеру и был уверен, что не позднее чем через месяц получу письмо о том, что рассказ принят. Но письма не было, и я отправил еще один рассказ и написал Келеру, спросил, в чем, мол, дело, отправил рассказы, а ответа нет.

Тем временем в «Технике – молодежи» напечатали картину художника-фантаста Ю. Случевского и предложили читателям написать по ней небольшой рассказ – не больше двух

тетрадных страниц. Картина была в советском духе: парень с девушкой, держась за руки, смотрят вдаль, и видны какие-то ажурные строения. Написал и я рассказик.

До конца января я отправил Келеру три или четыре письма с запросами и, наконец, получил долгожданный ответ, который стал ушатом холодной воды – и поделом, конечно. Текст того письма я точно не помню, но примерно так:

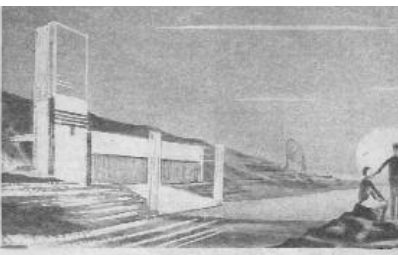
«Тем, что Вы забрасываете редакцию письмами, Вы ничего не измените в решении о публикации. К сожалению, Вы пишете все хуже. Мы решили, тем не менее, опубликовать Вашу подпись под картиной в № 2 за 1960 год, но редакция не может постоянно делать скидку на Ваш возраст. В дальнейшем мы будем относиться к Вам так же, как к любому автору. С уважением, Ю. Келер».

Вот так. И даже на «Вы»...

В феврале в числе прочих опубликовали и мой рассказик «Тропой отважных» («оригинальное» название, не правда ли?). Эти номера журнала у меня до сих пор хранятся – потрепанные, конечно, но живые.

После того, как Келер сделал мне письменный выговор, я не то чтобы обиделся (хотя и обида тоже была), но понял, что зарвался. Выбросил все тетрадки, исписанные не очень внятным почерком (точнее, спрятал подальше, но много позже действительно выбросил), и, чтобы начать «новую жизнь», стал сочинять длинную повесть с названием «Шестая межпланетная» – о полете на какой-то из спутников Юпитера. Тоже ерунда была, конечно, причем длинная. У меня не было настроения даже переписывать этот опус набело, за меня это сделал папа – на больших (как сейчас говорят – формата А4) очень тонких, почти папиросных, листах он переписал повесть через копирку, чтобы получилось четыре экземпляра. Там оказалось страниц двести, папа на работе эти листы аккуратно переплел, и первый экземпляр я все-таки решился отправить в журнал. Конечно, не в «Технику – молодежи», а

ВЕЛИК ЧЕЛОВЕК, ДЕРЗНОВЕННЫ ДРАКЕО, К РАЖА В ЕГО МЕТЬ



ОТВЕЧАЮТ ЧИТАТЕЛИ ИГОРЮ КОЛОНТАЮ

Рис. Ю. СПИЧЕВСКОГО

В ДЕВЯТОМ номере нашего журнала за 1959 год был опубликован рисунок читателя Игоря Колонтая с просьбой написать о том, что изображено на рисунке.

Стали приходить письма. Пересо, перосо, достало. Вскоре вышел целый гарм. Письма посыпались в ноябрь и январь: «Спасибо, спаси». Затем завалил еще один ноябрь. Потом заплывали третий и четвертый: «Вот А письма все идут...».

Студия бы на приезд писем... на Запальня или из Грузии, из Москвы или из Вологодской области, с Черного моря или из Краснодария, с Чукотки или из Петроградского; Минская, на его учених 5-го класса или научный работник, авторизованный или студент, инженер или рабочий, или оно писались по поручению Бригады коммунистического труда, кем бы оно ни было по форме — новелла или стихотворение, отрывок из дневника или письмо к другу — все письма утверждали одно: «Велик человек, дерзновенный дела его, смелые его мечты!».

Нот, это не просто письма — описание рисунка. Это дары к будущим, некие предубеждения, светлые и счастливые. И дары, потому писаны языком званным и вликим язы. Всеми значительными качествами, которые свойственны светловому человеку, подлинно из читателя журнала. Гарно писание стремится к миру, любит созидательный труд, творчество, свои верны в другом, готово на подвиг.

Тон же, как в горы Отчужденной войны, не задумываясь, шлет на падает солдату, идут неизвестно опасности в неизвестных, много отважных комсомольцев в другом рисунке.

«И в 2700 году случится вселенная», — говорится в третьем. Число не отдают врач от гиперболоидного. Все сделал бы он, чтобы человек жил. Разве не так поступают наши врачи!

Велико стремление людей к миру, и это стремление выражено во многих рисунках читателя.

Давно забыли жители Земли, что такое дружба и любовь. Атом служит только добрым делом. Совместными усилиями ученых многих стран земли используются новые силы в Эппольере и Антринтине. Новые войны ослепили для мира.

Иван, труд, мир, дружба, любовь, счастье — вот о чем мечтает человек, вот о чем мечтает люди, к чему они стремятся!

Случившимся из провинциальных писем мы знаем читателя и благодарим всех наших корреспондентов, приславших ответ на рисунок Игоря Колонтая.

А ЗАКАТА

ТРОПОЙ ОТВЯЖИХ

Чуждо моряре Солнце восходило над этой далекой прибрежной планетой, сияло тучам воздушную тучу светило с глубоким небес изумрудного цвета.

Мы молча прощались у берега моря, зеленого моря со звучным названием. Уступами к морю спускались

пригорья, в заремья прагорья устроились здесь.

За стенами зданиями кипела работа, светились, гудели, считали приборы: осталось четыре часа до отлета, четыре часа — на прощание и сборы.

Как будто вчера лишь во время посадки трессило и жалобно виле ширев... И вот мы исправили все неполадки, и снова перед нами дороги вселенная.

Нас дружно встретили эта планета, дав все небесам и все непросомоготово к отлугу земная рачка. Поре нам, нас идут с изотерпением

дом. Но что-то в груди у меня защемило, в минуту прощания сердце тропило. Прекрасная дочь изумрудного мира, из женщины далекого Земли ты пошла! Чужое светило восходило все выше, и все было светом зеленым заливом. И ты удивилась, должно быть, услышав, как в тебе так некая Аристон.

Москва

Н. ВАЛЗОВ



«Вот и «Тантал улетай, Люд! Делушка не отсади, молчи. О чем думает она? Может быть, вспомнил рачка, являющие по сонному слова, которая торжественно и медленно читал диктор: «При посещении на Венеру погиб командир планетолага «Звезда» Сергей Брицкий!».

А может быть, вспомнил гранитный обелиск, установленный в память о великом моряре Браньяне, ее отце!

Девушка затеряла неосознанно: — Здесь погиб отец, он не увидел новую Венеру, Пау.

— Здесь будешь работать ты, Люд! — Юноша подходит и краем скалы, смирит — на море. — Слушай. Мы прилетели сюда на девяти рачках. Это были корабли большие корабли. Делать кораблим один за другим пришлось в обычных условиях. Давало раз фиолетовые вспышки разрывали багровое небо. Девять раз сорвались почва. И девять гигантов встали рядом, утонувшие в гасе, ширевой корой. Из кораблей вышли люди в скафандрах. Выгружали машины. Началась великая стройка. Ты не представляешь себе, как это было грандиозно...

Здесь проморгались теми ураганы, что человек, томо шло, наско нах камнями. Работать в скафандрах было нелегко. Случалось, что на хвосте кислород. И все-таки люди шли, работали, строили.

Когда был построен первый домик, на планету прибыла биолог. Они привезли с собой новые аппараты. Эти аппараты, из растений, поглощая углекислоту и выделяя кислород. Куда только не забирались биолог со своими аппаратами! Они обитали на верхних хребтах Циолковского, спускались в темные ущелья, были даже на страшном Юпитере. Белек и Валура сдвинулись. Они ступили перед силой, которая оказалась сильнее всех ее стий. Усилиями биолога, пролившая небо. Усилиями биолога...

27

на этот раз к их конкурентам: в «Знание — сила». И что самое интересное (вот игры судьбы!), читать этот отбус редакция передала писателю Георгию Гуревичу, тому самому, чей рассказ «Инфра Дракона» я использовал, когда писал «Икарiona

Альфу!» Наверняка Гуревич читал мой рассказ в «Технике – молодежи». Но в своей рецензии, которую я получил месяца два спустя, об этом не было ни слова. А написал Гуревич, что намерения, мол, у автора хорошие, но повесть слабая. Сюжет рыхлый, персонажи неотличимы друг от друга, и так далее. Письмо было довольно длинное, и я его давно потерял, но помню два момента. Один – когда Георгий Иосифович цитировал фразу из моей повести, чтобы показать, насколько коряво она написана. Фраза была такая: «Горный хребет свернул перпендикулярно своему предыдущему направлению». Полагаю, таких фраз в тексте было более чем достаточно. Второй момент: в конце письма Гуревич написал, что, мол, «ты умный мальчик, Павлик, но надо учиться. Учиться писать и, прежде всего, для этого нужно много читать. Читать классиков: Чехова, Горького, Толстого»...

Классиков я читал – всех, кто входил в школьную программу. А сверх программы читал фантастику. Исключение составлял только Шекспир. Шекспира мы по программе должны были «проходить» в десятом классе, а мы с мамой после девятого класса поехали летом в Кисловодск (с нами тогда поехал и Тромбон с мамой и сестрой), и там я на месяц записал в библиотеку при Курзале. Как-то взял почитать томик Шекспира и не смог оторваться. За месяц перечитал все, что было в библиотеке, а, вернувшись домой, взялся за недавно вышедший восьмитомник – полное собрание сочинений – и проштудировал его от корки до корки, включая кровавого и всеми режиссерами нелюбимого «Тита Андроника». Говорил я в те месяцы частенько цитатами из Шекспира – не потому, что хотел кого-то удивить, а просто в голову приходило.

* * *

Года два я никаких рассказов не писал. Решил, что писателя-фантаста из меня не выйдет. Правда, и времени особого на

писанину не оставалось – десятый-одиннадцатый классы: последние годы учебы, много задавали, а потом экзамены... Я шел на золотую медаль, по всем предметам у меня были пятерки, и на экзаменах тоже. Помню щекотливую ситуацию, возникающую на последнем экзамене – по литературе. Писали сочинение, я уж не помню на какую тему. Написал я все нормально, но, как потом оказалось, забыл поставить запятую. И эта единственная отсутствующая запятая не позволяла комиссии поставить пятерку. Следовательно, золотую медаль я бы не получил. Ну и ладно, меня это тогда совсем не интересовало, но волновало учителей – получалось, что школа не имела бы в том году ни одного золотого медалиста. Кошмар...

И однажды в нашу дверь позвонили. Мама открыла: в коридоре стояла делегация жутко высокого уровня: директор школы Арон Давидович, учительница литературы Анна Исаковна, какой-то дядя из РОНО (ведь сочинение проверяла комиссия из РОНО). Они принесли два тетрадных листка с моим сочинением, чтобы я у них на глазах той же ручкой, какой писал в школе, поставил на место злосчастную запятую. Под их пристальными взглядами я запятую поставил, после чего все удовлетворенно вздохнули и удалились. За сочинение я получил пятерку и, соответственно, золотую медаль. С тех пор моя фотография висела в фойе школе много лет на доске золотых медалистов (может, и сейчас висит). Но запятую ту я помню...

* * *

Вернусь, однако, в девятый класс, к первому рассказу. Через месяц после выхода журнала из Москвы стали поступать письма от читателей. Они писали в редакцию, редакция пересылала мне. Писем, как мне тогда казалось, было очень много. Сейчас понимаю, что не так уж. Десятки, да, но не сотни. Практически все – от сверстников, тоже учеников

старших классов. Точнее – учениц. Большинство писем было от девочек, содержание практически одинаковое: «Прочитал(а) твой рассказ в журнале. Очень понравилось. Давай переписываться». При моей тогдашней некоммуникабельности переписываться с незнакомым человеком было мучением. О чем писать? О школе, учебе? Отвечал-то я всем, сейчас уж и не помню – что именно. Помню только, что все письма вместе со мной читал Тромбон, в конверты часто были вложены фотографии, Тромбон выбирал девочек покрасивее и отвечал им от моего имени. Надолго его не хватало, но несколькими письмами они обменивались. Одна девочка была из ГДР, с ней Тромбон переписывался довольно долго. А я помню двух своих «корреспондентов». Одним был Толя Фоменко, тоже в то время ученик девятого класса, из Донецка. Тогда же, когда в журнале вышел мой рассказ, у Толика в «Пионерской правде» из номера в номер печаталась повесть «Тайна сгоревшей планеты». Повесть мне нравилась, и я очень обрадовался, получив письмо от автора. Оказалось, что Толик тоже интересуется астрономией, физикой, любит фантастику – в общем, нашлось много тем для разговора. Свои письма Толик печатал на пишущей машинке, как настоящий писатель, а я свою первую машинку, старый дореволюционный Ундервуд, приобрел значительно позже, на втором курсе университета. С Толиком мы переписывались больше года, обсуждали разные проблемы мироздания – сейчас, конечно, не помню, какие именно. Письма, к сожалению, не сохранились, хотя было бы очень интересно их перечитать, учитывая, кем стал впоследствии Толик. Прервалась переписка, когда мы не сошлись во мнениях по поводу опытов Резерфорда. Не сошлись не в принципиальном вопросе, просто я поймал Толика на неточности, и он, видимо, обиделся. Он написал что-то о «французе Резерфорде», я напомнил, что Резерфорд был англичанином, и на это письмо Толик не ответил. Поскольку других причин для разрыва отношений я не

видел, то и решил, что Толик обиделся за Резерфорда. Может, и не так, не знаю.

Я вспомнил о Толике много лет спустя, когда появились первые исследования академика Анатолия Фоменко по поводу «неправильной датировки исторических событий». Я не сразу понял, что академик-математик Фоменко и Толик – одно и то же лицо. Но лицо действительно было одно и то же – отождествил по фотографии. Конечно, за много лет Толик сильно изменился, но узнать все-таки было можно. Так что, в некотором смысле, и я тоже стоял у истоков фоменковщины...

Другая активная и довольно долгая переписка была у меня с Олей Штейнберг из Куйбышева. Она тоже тогда училась в девятом классе, прислала фотографию – я и сейчас эту фотографию помню в деталях: большие глаза (почему-то я был уверен, что голубые, как у меня, хотя фотография была черно-белой), высокий лоб, гладкая прическа с пробором... В отличие от переписки с Толиком, с Олей мы научных проблем не обсуждали, разговаривали о школе, об учителях... Через год переписки (не такой уж интенсивной, письмо в месяц примерно) разговор зашел о музыке, и неожиданно выяснилось, что Оля тоже любительница оперы. В Куйбышеве тогда был очень хороший оперный театр, один из лучших в Союзе. Я даже видел два спектакля Куйбышевской оперы, когда она гастролировала летом в Кисловодске. Помню, как я радовался, увидев в репертуаре оперу Верди «Эрнани». Я тогда и не чаял когда-нибудь эту оперу услышать – пластинок не было, а опера эта – из ранних вердиевских, исполнялась она вообще редко, а в Союзе – только в Куйбышеве. Конечно, пошел в Курзал на представление и до сих пор помню декорации. Правда, кроме декораций, не помню ничего. И еще я в то лето был на представлении у куйбышевцев оперы Рубинштейна «Сказ о купце Калашникове». Это мне совсем не запомнилось.

В общем, стали мы с Олей разговаривать об опере. «Самая светская беседа», – как сказала бы кэрроловская Алиса. Я написал о своих кисловодских впечатлениях, о том, как мне не особенно понравился некий тенор (фамилию уже не помню), который пел Эрнани. Оказалось, что этого певца Оля очень любит, считает, что у него великолепный голос. Я возразил... На это письмо Оля не ответила, и переписка заглохла. Мне почему-то кажется, что она обиделась за тенора, хотя на самом деле причина могла быть совсем иной...

* * *

В пятом классе я записался в астрономический кружок при Дворце пионеров. Вообще-то небо меня всегда... манило, наверно, пышно сказано, но действительно... иные миры, звезды... Когда отец сказал, что во Дворце пионеров есть астрономический кружок, я, естественно, пошел записываться. Руководил кружком Сергей Иванович Сорин – личность уникальная. Он был совершенно одинок – и тогда, и всю жизнь. Никогда о себе не рассказывал, и я лишь много лет спустя узнал, что у него была любовь – на фронте случился роман с девушкой-санитаркой. Обычная по тем временам история. Девушка погибла в последние дни войны, и Сергей Иванович никогда больше не посмотрел ни на одну женщину. Астрономический кружок составлял весь смысл его жизни.

Сергей Иванович не следил за собой, ходил в единственном костюме, а когда у него в довольно еще молодом возрасте стали портиться и выпадать зубы, он не стал их лечить, они все выпали, он так и ходил беззубый. Его это нисколько не трогало. Все деньги он тратил на кружок. Конечно, Сергей Иванович много рассказывал о небе, но главное – мы с ним сами изготовляли телескопы. Сами шлифовали и полировали зеркала, сами делали монтировки для телескопов. Сергей Иванович добился, чтобы во Дворце пионеров создали хоро-



С.И. Сорин

шую токарную мастерскую (скорее всего, и станки Сорин покупал на свои деньги), там мы вытачивали детали. Только на алюминирование зеркала отправляли в Питер, в ЛОМО, а все остальное – сами. Для любителей это были действительно большие телескопы: самый большой имел зеркало 60 см в диаметре, не во всякой обсерватории такие были. У нас получались замечательные фотографии звездного неба, туманностей, галактик, планет... Огромная фотография Луны в первой че-

тверти висела на стене в комнате, где мы занимались, другие стены были увешаны фотографиями поменьше.

В десятых классах в те годы изучали астрономию, и как-то Сергей Иванович устроился преподавать этот предмет в одну из школ. Проработал он полгода, и его попросили уйти, потому что в первом же полугодии он выставил всем ученикам по единице в табели, и только одному – двойку. Когда изумленный завуч спросил, что это значит,



Наблюдательная площадка
кружка в обсерватории

Сергей Иванович объяснил, что никто ни черта не усвоил и ни бельмеса не знает. Поэтому – кол. И только один ученик знает, но плохо, вот и получил плохую оценку, то есть двойку.

Летом кружок выезжал на наблюдения в Пиркули – туда, где потом построили обсерваторию (когда построили, кружок продолжал туда ездить). Но меня мама ни разу не отпустила в эти экспедиции, боялась, что в горах мне станет плохо – врачи тогда диагностировали у меня комбинированный порок митрального клапана и запретили физические нагрузки. А поездка в горы – нагрузка. К тому же, высота полтора километра. Потом я в той обсерватории проработал почти четверть века. Оказалось, что высота вовсе на мое сердце не влияла, но это уже другая история...

* * *

В детстве я часто болел ангинами. В школу две недели ходил – неделю сидел дома. А ангины серьезно отражаются на сердце. Мне было лет 12, когда в детской поликлинике наша районная врач услышала у меня в сердце сильные шумы и направила к кардиологу. Кардиологом работала очень хорошая и знающая женщина, жена известного в городе хирурга Кажлаева, мать известного композитора Мурада Кажлаева. Она послушала меня и мрачно сказала маме, что «надо провериться». В результате проверок у меня обнаружили комбинированный порок митрального клапана – то есть, два порока сразу: сужение и искривление перегородки.

Пичкали какими-то лекарствами, но это было бесполезно. За это время сам Кажлаев успел у меня вырезать гланды – тогда думали, что это может помочь, по крайней мере, избавит от ангин.

Ничего не помогло. Когда я оканчивал школу, повели меня к лучшему детскому врачу города, доктору Листенгартен, ей было уже немало лет, и опыт в лечение любых дет-

ских болезней она имела огромный. Она меня послушала, постучала и сказала: «Молодой человек, вы, в принципе, можете и до восьмидесяти дожить, но при одном условии: жесткая дисциплина, режим, не пить, не курить, тяжести не поднимать, физической работой не заниматься...» И добавила: «Может, когда-нибудь научатся такие пороки оперировать, тогда вам сделают операцию...».

В армию меня не взяли, выдали военный билет, в котором значилось: «Рядовой, необученный, не годный в мирное время, годный к нестроевой службе в военное время».

Так и жил, все знали, что у меня больное сердце и пытались относиться соответственно. Регулярно, раз в года три, делали мне кардиограмму, которая, естественно, показывала то же, что прежде. Всякий раз я ловил на себе сочувствующие взгляды врачей: мол, не повезло человеку, до пенсии явно не дотянет...

Последний раз в Баку делал кардиограмму перед отъездом в Израиль – нужно было представить в ОВИР медицинскую справку. В эпикризе было написано: «комбинированный порок митрального клапана»..

В Израиле, как положено, записался в больничную кассу и отправился на прием к домашнему врачу: встать на учет. Домашний врач прочитала документы, покачала головой, послушала, постучала и направила на новую кардиограмму и на ультразвук. И там, и там диагноз подтвердили.

Так и жил – с ощущением, что завтра может что-то заклинить, и...

Через пару лет у меня поднялось давление – первый раз в жизни. Мы успели за это время переехать и жили не в Иерусалиме, а в Бейт-Шемеше. Там я еще в поликлинику не ходил, и домашний врач меня не знала. Померила давление, сделала укол, спросила – на что еще жалуюсь. Я сказал: сердце, мол. Рассказал свою историю, она посмотрела эпикризы и отправила в соседнюю комнату – сделать кардио-

грамму.

Врач наклеил на меня датчики, посмотрел на ленту, выползавшую из самописца, смотрит, сделал удивленное лицо и сказал:

«Это вы на сердце жаловались?»

«Я».

«Ничего у вас нет, – сердито объявил он, распознав, видимо, во мне симулянта, – абсолютно здоровое сердце! Четкий ритм, ровные зубцы, никаких отклонений от нормы».

Немая сцена.

Для проверки меня отправили на обследование ультразвуком. Там посмотрели и сказали: абсолютно здоров.

Вторая немая сцена...

И финал это очень странной истории: домашний врач заявила, что раньше, может, и был порок, раз столько кардиограмм это показывали, но сейчас нет ничего.

«Как это возможно?» – спросил я.

«Никак», – ответила она. – Не встречала в медицинской литературе случая, чтобы митральный клапан вдруг сам собой исправился. Это же не функциональное нарушение, это физический дефект перегородки!»

«И что дальше?» – спросил я.

«Желаю вам, – сказала она, – дожить до ста двадцати. С таким сердцем, как у вас, это вполне реально».

А в компьютер записала: «Спонтанная реабилитация».

Лет десять спустя я написал повесть «Маленький клоун с оранжевым носом», где с главным персонажем происходит примерно такая же история. Но то фантастика...

А что произошло в реальности?

* * *

Сергей Иванович уговаривал меня ехать после школы в Москву и поступать в МГУ, а мама с папой были против. В первых, не представляли, как будут жить без любимого

сыночка, а во-вторых (и в главных) не было денег, чтобы меня в Москву отправить. Сергей Иванович несколько раз приходил к нам домой уговаривать родителей. Мама к его приходу готовила суп, поскольку Сергей Иванович не мог есть ничего твердого. Разговор продолжался часами. Ничем это не кончилось, никуда я не поехал, поступать пришлось на физфак в Баку. С мечтой о том, чтобы стать астрономом, я тогда, как мне казалось, распрощался окончательно.

Помню вступительные экзамены. Физику принимали двое лаборантов из лаборатории общей физики – потом они у нас вели лабораторные работы на первом и втором курсах. На билет я ответил нормально, а потом один из экзаменаторов (потом я узнал, что звали его Николай, а фамилия у него была Бездетный) сказал: «Я тебе покажу схему и задам вопрос. Ответишь – получишь пятерку». Я перепугался, подумал: сейчас он та-а-кое спросит. Экзаменатор нарисовал простенькую схему замкнутой электрической цепи и спросил: «За счет чего эта цепь работает?» Честно говоря, я подумал, что тут наверняка какой-то подвох. Как это: за счет чего? Вот же значок: химическая батарея. Подумав минуту и не найдя никакого другого источника, я ткнул пальцем в значок и, ожидая, что сейчас меня поднимут на смех, сказал, что энергия берется из батареи. Экзаменаторы переглянулись, и Бездетный сказал: «Наконец! До тебя ни один абитуриент не смог на этот элементарный вопрос ответить!» А я не мог представить, как можно не знать такие элементарные вещи. Как же люди на физфак-то шли?

Это к вопросу о том, что раньше студент был ого-го, не чета нынешним...

Впрочем, на физфак тогда в Баку не особенно рвались. В МГУ, Физтех, МИФИ были огромные конкурсы, а у нас на дневном отделении физфака – полтора человека на место. На вечернем и того не было – мест было двадцать, а абитуриентов одиннадцать. Приняли, конечно, всех. В том числе и

Тромбона. Он по натуре классический гуманитарий, физику терпеть не мог, но решил поступать туда же, куда я, за компанию: друзья все-таки. Понимал, однако, что даже при конкурсе полтора человека на место шансов пройти у него нет, а потому подал документы на вечернее отделение. Как там принимали экзамены, можно судить по математике. Когда он показал мне, как решил экзаменационную задачу, у меня волосы встали дыбом – я был уверен, что Тромбон получи «пару».

Задача была простенькая – по тригонометрии: чему равен $\sin x + \sin 2x$? Тромбон, долго не думая, написал: $\sin 3x$. Получил по математике четверку и был принят. Правда, до конца университета он не дотянул – душа у него все же не лежала к физико-математике. После второго курса, еле выдержав физико-математические премудрости, он отправился в Ленинград поступать в университет на факультет востоковедения, на китайское отделение. Китай ему тоже был не интересен, но это, во-первых, все же лучше, чем физика, а во-вторых, на китайское отделение практически не было конкурса. Так Тромбон и оказался в Питере, где живет и сейчас. Но это все – другая история...



А.И. Михайлов (Тромбон) в 2002

Вернусь к вступительным экзаменам. Сочинение. Никогда не любил писать сочинения на заданные темы вроде: «Образ такого-то там-то». Всегда в школе выбирал «свободную» тему. На вступительных предложено было написать: «Почему я хочу стать физиком». Я и написал – почему НЕ хочу стать физиком. Написал, что хочу быть астрономом, но вынужден поступать на физфак, а физику хоть и люблю, но не

имею никакого желания работать учителем физики в средней школе. И все в таком духе. Написал, однако, без ошибок и получил четверку. При тамошнем конкурсе вполне хватило.

* * *

После второго курса я все же решил попробовать перевестись в МГУ. Денег к тому времени дома не стало больше, но я уже был немного увереннее в себе и решил попробовать. Прочитал несколько книг и трудов конференций по космологии, написал в тетрадке что-то вроде реферата и отправил в ГАИШ (Государственный Астрономический институт имени П.К. Штернберга при МГУ) самому Якову Зельманову – он был тогда ведущим космологом в СССР, известный в то время ученый... Ни на что не надеялся, но неожиданно получил от Зельманова письмо, в котором он писал, что работа ему понравилась, и он был бы рад видеть меня своим учеником. Имея такое письмо, я после второго курса отправился в Москву. Мама поехала со мной, жили мы у родственников жены моего дяди, папиного брата.

В ГАИШе все прошло хорошо, Зельманов поговорил со мной, подписал нужные бумаги, потом эти бумаги подписал директор ГАИШ академик А. Михайлов, милейший старичок, он со мной целый час о чем-то беседовал, совершенно не помню о чем. Потом бумаги подписал декан физфака В. Фурсов. Все они были «за» (правда, с условием, что я продолжу обучение не на третьем курсе, а опять на втором – все же в МГУ давали более серьезные знания, чем в нашем университете, и нужно было догонять). Оставалась формальность: утверждение на деканском совещании. После бесед с Зельмановым, Михайловым и Фурсовым я был абсолютно уверен в том, что в Баку уже не вернусь.

Но... Было лето, август, все разъехались, уехали отдыхать и Зельманов, и Фурсов, и Михайлов. Деканское совещание

вел В. Саломатов, заместитель декана. Как это происходило, я четверть века спустя описал в повести «Высшая мера». Эпизод о том, как герой повести пытался перевестись в МГУ, там описан один к одному:

«Вопрос решался на деканском совещании. На физфаке толстенные двери, а нам – нас пятеро переводились из разных вузов страны – хотелось все слышать. С предосторожностями (не скрипнуть!) приоткрыли дверь, в нитяную щель ничего нельзя было увидеть, но звуки доносились довольно отчетливо. Анекдоты... Лимиты на оборудование... Ремонт в подвале... Вот, началось: заявления о переводе. Замдекана:

– Видали? Пятеро – Флейшман, Носоновский, Газер, Лесницкий, Фрумкин. Прут, как танки. Дальше так пойдет... Что у нас с процентом? Ну я и говорю... Своих хватает. Значит, как обычно: отказать за отсутствием вакантных мест.

Мы отпали от двери – все пятеро, как тараканы, в которых плеснули кипятком».

Началась депрессия. Жизнь кончена, астрономом мне точно не быть, а физиком не хочу. К тому же, наш университет выпускал, в основном, школьных учителей физики. Преподавать я не любил, не хотел и не умел. Мрачно размышлял о смысле, точнее, о бессмысленности жизни... Не знаю, как бы это закончилось, но однажды купил я в музыкальном отделе ГУМа пластинку с записью Пятой симфонией Бетховена. Ее финал меня и спас. Музыка меня действительно вернула на этот свет.

Домой я возвратился из Москвы уже живой, но уверенный в том, что работать астрономом мне не суждено. Правда, оставалась очень небольшая надежда как-то устроиться в Шемахинскую обсерваторию, которая только недавно открылась у подножья горы Пиркули, куда астрономический кружок ездил на наблюдения. Но в обсерватории у меня не было никаких знакомых, и я не представлял, как туда поеду, что скажу...

Тогда и произошло событие, какие случаются, может, раз в жизни. Когда я уже перешел на пятый курс, как-то пришел утром на занятия. У двери в аудиторию стоял молодой мужчина, серьезный, лет тридцати. Спросил: не моя ли фамилия Амнуэль.

«Мое имя Октай, – сказал он, – я замдиректора Шемахинской обсерватории по науке. Недавно назначили. Сам я только что защитил кандидатскую диссертацию и хочу взять студента, работать с ним над дипломом. Декан мне сказал, что вы интересуетесь астрономией. Хотите работать со мной?»

Конечно! Октай Хангусейнович Гусейнов стал моим научным руководителем. Сначала я писал с ним диплом. Темой были «Некоторые особенности наблюдения нейтронных звезд». Потом он, как заместитель директора по науке, прислал в университет персональный вызов – и, защитив диплом, я оказался в той самой обсерватории, о которой мечтал. С Октаем мы потом работали вместе 23 года, пока я не уехал в Израиль, а он вскоре – в Турцию, потому что в Азербайджане наукой заниматься стало невозможно. Много чего мы сделали за эти годы. Например, за три года до открытия предсказали рентгеновские пульсары. В начале семидесятых писали о том, что в Галактике должно быть десять тысяч слабых рентгеновских источников, и природу их описали. Нам говорили, что слабых рентгеновских источников вообще не должно быть, поскольку, чем слабее излучение, тем оно «мягче», слабые источники окажутся не рентгеновскими, а ультрафиолетовыми. Через несколько лет оказалось, что мы были правы, сейчас в Галактике известны тысячи слабых рентгеновских источников...

В середине семидесятых мы составили самый большой по тем временам каталог рентгеновских источников и не знали сначала, где его публиковать. Огромная работа, больше ста страниц, в московский «Астрономический журнал» ее не

приняли бы просто из-за объема.

Летом 1978 года в городе ученых Протвино, под Москвой, состоялось первое (и последнее) советско-американское совещание по рентгеновской астрофизике. Мы с Октаем поехали и взяли с собой каталог: это была коробка с карточками из плотной бумаги, для каждого источника была отдельная карточка, на которой записаны все известные к тому времени параметры: координаты на небе, область ошибок, интенсивность излучения, переменность, данные о спектре... Из США на совещание приехали все руководители американской космической рентгеновской программы. Наш каталог я показал главному «рентгенщику» Джорджу Кларку. Он поглядел и сказал: «Это надо срочно отправлять в “Astrophysical Journal”». Я объяснил непонятливому американцу, что это невозможно, потому что этот журнал (ведущий в мире по астрофизике) платный. Чтобы опубликовать там статью, нужно платить 60 долларов за каждую страницу, в нашем каталоге получится страниц двести, а у нас даже одного доллара нет!

«Ничего, – сказал Кларк, – присылайте, остальное вас не касается».

Конечно, всю информацию и выводы надо было еще изложить на хорошем английском. Кларку я показывал таблицы, а не текст. Перевели с грехом пополам, отправили. Месяца через два получили письмо из журнала: материал представляет большой интерес и будет опубликован в таком-то номере. К письму была приложена бумага, согласно которой мы должны были заплатить за публикацию около шести тысяч долларов.

Мы написали письмо Кларку, но на публикацию уже не надеялись. Шесть тысяч! Огромные деньги! Прошел еще месяц, и из США пришло новое письмо, в котором говорилось, что вопрос оплаты улажен, за нас заплатил Колумбийский университет.

Каталог был опубликован в «The Astrophysical Journal, Supplement series».

* * *

Расскажу, как не стал философом. Занятия по марксизму-ленинизму мне никогда не нравились – а кому они вообще нравились? Скука. Но на третьем курсе появился у нас молодой энергичный преподаватель по фамилии Оруджев. Лекции он читал не стандартные, сам занимался философией физики, философскими проблемами теории относительности. Философски хотел объяснить, почему длина предмета при субсветовых скоростях уменьшается. Стало интересно, но к семинарам я все равно не готовился.

Как-то Оруджев остановил меня после лекции (кто-то ему успел сообщить, что я интересуюсь теорией относительности) и стал рассказывать о своих идеях. Идея была такой: длина меняется потому, что предмет одновременно находится в данном месте и не находится в нем. Я ничего не понял, но любопытно было порассуждать. Оруджев, наверно, решил, что мне действительно интересно, и на следующем семинаре вызвал отвечать. Семинар был на тему «Материальное единство мира». Никто, конечно, не читал работу тов. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», я тоже. И вот стою я, тупо глядя на преподавателя, а он смотрит на меня и ждет ответа. Минута молчания – Оруджев начинает понимать, что напрасно на меня понадеялся, а я начинаю понимать, как разочаровал человека. И тут вспоминаю единственную фразу – не из книги, конечно, а как-то где-то слышал. Вроде Ленин где-то писал.

– Ну... – сказал я мрачно. – Как известно, в мире нет ничего, кроме вечно движущейся и вечно развивающейся материи.

Точка. Больше мне сказать нечего, я продолжал смотреть на Оруджева, он тоже понял, что больше от меня слова не до-

бьется, и торжественно заявил:

– Вот! Это абсолютно точное и краткое определение темы нашего семинара! Отлично!

Краткое, да... После того семинара Оруджев и решил сделать из меня философа. Оставлял после семинаров, беседы беседовал. Поговорить было интересно, но не больше. А когда я перешел на пятый курс, он неожиданно говорит:

– Закончишь университет, иди ко мне в аспирантуру. Философия физики – увлекательное занятие.

Ага, как же... Как раз тогда появился Октай, и я уже всей душой и мыслями был в обсерватории. С другой стороны, обидеть человека тоже не хотелось. И что делать? Тут как раз подоспело распределение. У меня-то уже был вызов, а у моего приятеля Лёвы Буха вызова не было, и по распределению он должен был поехать куда-то в Тюменскую область. Я ему и сказал: почему бы тебе вместо меня в философию не податься? Лева подумал и решил: лучше быть философом, чем преподавать физику в Тюменской глубинке. Подвел я Лёву к Оруджеву и предложил замену. Тот скептически посмотрел, подумал... В общем, пошел Лёва в философскую аспирантуру вместо меня, защитил под руководством Оруджева диссертацию и потом много лет работал на кафедре философии в нашем Политехническом институте.

Был еще случай, когда я попробовал послать другого вместо себя. Случай это я потом описал почти дословно в повести «Исповедь»:

«Вызвали меня как-то в военкомат, там сидел тип в штатском, представился майором... не помню фамилию... И после нудного выяснения отношений («Что вам больше в науках нравится? Говорят, вы небо любите, ракеты, да?») сделал достаточно недвусмысленное предложение: после университета пойти работать (он, кажется, сказал, именно «работать», а не «служить») в ракетные части. «С вашими знаниями и оценками... С вашей любовью к полетам в космос»... Я в оше-

ломлении пробормотал что-то невразумительное, мол, надо подумать, посоветоваться... «Подумайте, конечно, – сказал он, – только советоваться ни с кем не надо, вообще никому ни слова о нашем разговоре, распишитесь здесь»...

Не помню, под каким предлогом я отказался... в той жизни. Кажется, сослался на детскую болезнь сердца, зафиксированную, кстати, в моей медицинской карте».

Герой повести «не помнил», под каким предлогом отказался. Я же отказался именно сославшись на болезнь сердца. И фамилию майора я, конечно, запомнил: Мамедов. Больше меня в военкомат не вызывали. Но история с майором на том не закончилась. Вместе со мной на физфаке, в группе теорфизики, учился Фикрет Касумов. Когда Октай Гусейнов предложил мне писать диплом по релятивистской астрофизике, он сказал: «Может, ты предложишь еще кому-нибудь заняться астрофизикой? Вдвоем было бы интереснее». Я рас-



Ф. Касумов в лаборатории (2007 год)

сказал Фикрету о том, что произошло и о предложении Октая, он согласился и, как и я, писал дипломную работу по

физике нейтронных звезд. И в обсерваторию мы поехали вдвоем. Но, в отличие от меня, Фикрет не имел освобождения от армии. После вуза ему предстояло, поскольку он считался младшим лейтенантом запаса, пройти годичную службу – и ему этого вовсе не хотелось. Тогда я и нарушил данное майору обязательство хранить тайну – рассказал Фикрету историю о том, как я не попал в ракетные войска.

«Попробуй, – посоветовал я ему. – Лучше уж ракеты, чем полевая служба в каком-нибудь гарнизоне».

Фикрет согласился и, когда ему пришла повестка, отправился к военкому.

«Есть тут у вас такой майор Мамедов, – сказал Фикрет, – он в ракетные части людей набирает, хочу с ним поговорить».

Военком сделал большие глаза:

«Какой еще майор Мамедов? Нет у нас таких. Вы мне зубы не заговаривайте, младший лейтенант!»

Пришлось Фикрету год отслужить. Видимо, у них в ракетных войсках были свои списки – кому предлагать, кому нет...

Часть 2

«Кому весело? Нам!»

Нашел я старый альбом с фотографиями, сделанными в университетские годы, когда, как весь Советский Союз, мы играли в новую по тем временам игру: КВН. Аббревиатуру мы обычно расшифровывали не «Клуб веселых и находчивых», а немного иначе: «Кому весело? Нам!»

Я учился на втором курсе, когда по телевидению стали показывать из Москвы первые передачи КВН. Сейчас я уж не помню, кто предложил организовать на факультетах команды и попробовать сыграть. В команду физфака я пришел, когда она уже была практически сформирована. В общем-то – не рвался играть, не считал, что у меня есть для этого достаточно чувства юмора. Но в команду факультета успели записаться двое моих сокурсников: Лева Бух и Юра Сорокин. «Давай с нами! – предложили они. – Будет весело!»

8 марта 1965 года была встреча-представление факультетских команд – каждая показала свою «визитную карточку», но очки тогда не присуждались, конкурсов не было. Наша команда физиков изготовила для «визитки» десять огромных томов (высотой метра два) «Теоретической физики» Ландау и Лифшица. Команда пряталась в книгах, книги выносили на сцену, ставили в ряд, обложки раскрывались, и мы появлялись под звуки бодрой музыки. Я уже не помню, что мы тогда говорили, в памяти остался только лозунг: «Жюри, не жури, а не то – смотри!».

Потом начались соревнования. Первое – тройное: физики, математики, востоковеды. Сначала я был в группе, которая сочиняла выход и домашнее задание (тема была «Почему я люблю физику» (математику, соответственно, или Восток). Я уже многих деталей не помню, но в памяти сохранилось, как все команды друг за другом шпионили, пытаясь выяснить, кто какие вопросы готовит. Ведь все было по-настоящему, вопросов противника никто не знал до самой встречи. Репетировали в актовом зале университета, каждой команде выделили определенное время, и на это время зал запирали и никого, кроме членов команды, не пускали. Когда репетировали математики, мы севой Бухом сумели пробраться в будку киномеханика и оттуда сфотографировать репетицию. Ничего оттуда не было слышно, но математики-то об этом не знали. На следующий день мы повесили в коридоре стенгазету с этими фотографиями, и математики решили, что нам все об их будущем выступлении известно. Более того, как-то наш капитан Эмин Алиев разговорился в коридоре с капитаном математиков Мариком Берколайко, и их сфотографировали. Разговор был, конечно, нейтральным, но и эту фотографию мы поместили в стенгазету и дали подпись: «Капитан математиков передает секретные сведения капитану физиков». В общем, пытались нагнать на математиков страху. И таки добились того, что домашнее задание они заменили. Ну и кому мы сделали хуже? Старое задание мы хоты бы видели, а о новом ровно ничего не знали!

В день встречи, часа за два до начала, наш капитан Эмин Алиев сказал вдруг: «Будь сегодня капитаном вместо меня, что-то я себя нехорошо чувствую, волнуясь». И пришлось мне стать на вечер капитаном.

А теперь – из альбома.

* * *

24 апреля 1966 года в первой официальной встрече участвовали три команды: физики, математики и востоковеды.



Выход физиков. Эмин (он с микрофоном) проводит на сцене жуткий опыт. Взрыв, грохот – это у Фаика Султанова в кармане взрывается заряд. Команда возникает на сцене как бы из ничего, но в каком виде!



Вот они – первые оборванцы бакинского КВН: Марик Файфман, Фаик Султанов, Олег Васильев, Иса Исмаилов. Ариф Ахмедов счастливо избежал участи товарищей... Оборванцы из университета еще не раз появлялись на сцене. На любом КВН в любом зале не обходилось без оборванцев,

если участвовала команда университета. А видели бы вы, с какой любовью и тщательностью ребята раздирали в клочья свои лучшие костюмы, чтобы предстать оборванцами...



Выход востоковедов. На сцене – цыганский табор.

«Плачь, цыган, и сквозь слезы пой,
Ох, как скучно нам в таборе порой!
Что же делать нам, скуку как прогнать?
Есть один ответ: в КВН играть!»



Выход математиков прост. Ни оборванцев, ни цыган. Вышли, показали, победили. На фотографии – эмблема КВН

АГУ, предложенная математиками. Демонстрирует эмблему Ира Гринберг.



Цвет университета: пришли, оставив научные и разные прочие дела, деканы и профессора. Слева декан мехмата грозный Аляддин – видите, как он задумался, соображает, где он забыл свою волшебную лампу. А рядом декан физфака профессор Мухтаров, последний член в формуле Клейна-Нисины-Тамма-Мухтарова.



Начинается разминка. Физики совещаются, а команда математиков нервно ждет.



Вопрос задают востоковеды. На переднем плане Женя Лисенковский. Вот и ответ: из песни «Ты постой, не спеши, объясниться разреши...»



Физики показывают несколько таблеток стрептоцида, долго раскладывают их на бумаге, команды напряженно тянутся поглядеть. Оказывается, это полное издание Большой Советской Энциклопедии, год издания 2001. (А ведь достаточно точно напроорочили – сейчас все тома БСЭ легко записать на флэшку).



Три капитана: востоковед Рамиз Мамедов, математик Марк Берколайко, физик Павел Амнуэль.

Встреча продолжалась три с половиной часа. Преимущество востоковедов стало понятно после домашнего задания «Мой факультет» (вот это я совсем не помню!). Математики вышли на второе место. Оборванцы-физики проиграли. Но идея победила, и оборванцы-физики еще не раз появились потом на сцене, выступая уже за команду университета.

* * *

Весной была создана объединенная университетская команда, менеджером и душой ее стал Алик Письман, он у нас читал историю партии, хотя был старше нас всего лет на пять-шесть. (Примечание: Впоследствии Алик работал в Горкоме партии, а в 1990-м, тогда же, когда и я, репатриировался в Израиль. Много лет он работал на русском радио, а в 1993 мы с ним целый год вели в прямом эфире еженедельную программу «В мире реальной фантастики». Каких только историй тогда не наслушались – в студию звонили и рассказывали такое... Но это уже было другое время, другая история. Алика уже нет в живых, он умер от сердечного приступа несколько лет назад...)

Все в команде были с разных факультетов, но, в основном, с третьих курсов. Собирались, репетировали, сочиняли тексты, ночи не спали, ругались, что-то клеили... Постепенно стали как-то распределяться роли. Одни готовили декорации, другие были актерами (в домашнем задании), третьи сочиняли тексты. Я тоже там сочинял – стишки, куплеты...

* * *

Тогда мы подружились впятером – Леня Амстиславский (с исторического), Лева Бух (мы с ним вместе учились на физическом), Юра Сорокин (химик), Марик Гринберг (математик) и я. Называли себя «Пятеркой шпаг» (по рассказу Честертона). Договорились (мы тогда еще были, конечно, холостые), что на свадьбу каждому будем дарить шпагу (спортивную, конечно). И дарили. Все, в конце концов, женились и получили по шпаге. Моя висела на стене, а когда я уезжал в Израиль, то шпагу с собой не взял.

Судьба «Пятерки шпаг» сложилась по-разному. Леня долгое время работал по комсомольской линии, а в конце восьмидесятых уехал с семьей в Штаты, но кому там нужен был советский историк? Подался в бизнес (он всегда был к этому склонен), пытался вести дела в России, что-то продавал-покупал, а в 1996, когда Ельцина выбирали на второй срок, Леня работал у него в предвыборном штабе, сочинял политические сценарии. В те бурные годы он много чего повидал, причем такого, чего ему и знать не следовало. Кончилось это тем, что ему подсунули пакетик наркотиков, арестовали, и три года Леня провел в Лефортово и лагере. Заработал инсульт и два инфаркта, после освобождения уехал к семье в Штаты и после этого в Россию ни ногой, как и в политику вообще. Сейчас живет в Нью-Йорке, пишет статьи в местную русскую газету. Написал воспоминания о тюрьме «Невольные записки», их можно найти в Интернете.

Лева Бух, главный оборванец, стал потом кандидатом философских наук, преподавал философию в Бакинском Политехническом институте, в начале девяностых уехал в Штаты, там одно время давал консультации как семейный психолог. Вел колонку в местной русской газете, отвечал на вопросы читателей, связанные с психологией семейных отношений. Вопрос обычно были такими: «Здравствуйте, меня зовут Света, мне 18 лет, у меня есть парень, с которым я сплю, но я встретила другого парня, и он предложил мне вступить в интимные отношения. Мне тоже этого хочется, но мне хочется быть и с первым моим парнем. Как поступить?» Или: «Здравствуйте, мое имя Ира, мне 37 лет, я замужем. Встретила хорошего мужчину, и мы полюбили друг друга. Но мужа я тоже люблю и не хочу его бросать. Что мне делать?»

На все такие вопросы (а других в редакционной почте, по моему, и не было) Лева отвечал всегда одинаково, перефразируя известное изречение: «Если нельзя, но очень хочется, то можно»... Колонка пользовалась успехом, но платили за нее мало. Возможно, Лева и сейчас занимается этим не очень прибыльным делом.

Юра Сорокин после университета несколько лет проработал на одном из Бакинских нефтеперерабатывающих заводов, а когда развелся с женой, то уехал в Щелково, под Москвой, устроился в химический институт, и с середины восьмидесятых я о нем ничего не знаю – на письма он перестал отвечать, телефон не работал...

Хуже всего получилось с Мариком Гринбергом. У него было большое сердце, после университета он все чаще лежал в больницах, личная жизнь не складывалась, жениться-то он женился, но прожили они полгода, жена у него оказалась больна шизофренией, причем в тяжелой форме – забрали ее в психиатрическую больницу, где она и осталась. А Марик в 1979 году умер. Лег как-то днем отдохнуть и не проснулся...

* * *

12 мая 1966 года команда университета играла во Дворце культуры имени Дзержинского против команды Медицинского института. Первый городской КВН. Капитан университета Эмин Алиев, капитан медиков Боря Животовский.



Зал клуба переполнен, кругом плакаты обеих команд...



«Эй, ухнем!» Вот они опять, голодранцы из университета. Теперь они бурлаки, стараются вытянуть на сцену что-то тяжелое. Что?

«Что нужно в этом Кавээне?
Сатира? Мало! Юмор? Нет!
Сегодня здесь на этой сцене
Нужна Фортуна! Вот ответ!»

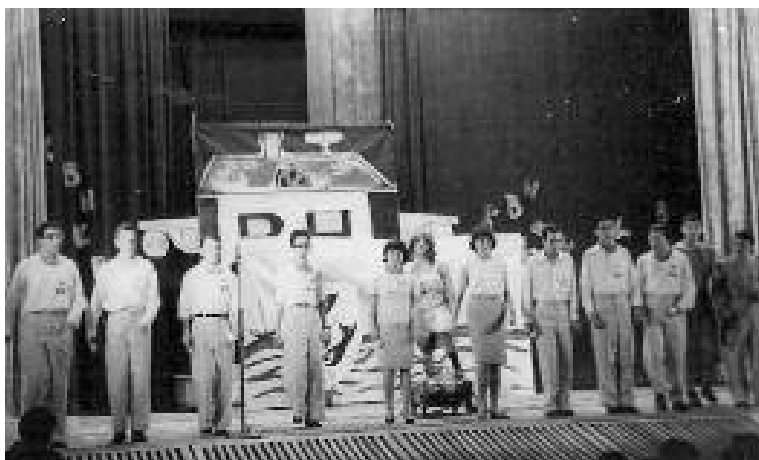


На сцену выползает «фешенебельный» автомобиль, и в нем Фортуна – Натик Джафаров. В качестве двигателя – Лёва Бух, в качестве горючего – высокооктановая крауха черного хлеба, которую двигатель жрет прямо на сцене.



На зычный призыв бурлаков является белоштанная команда Университета:

«Мы готовы к любому сражению,
Ведь лекарства от юмора нет!
Не хотим снисхожденья
И случайных побед!»



Команда университета под защитой своей Фортуны: Эмин Алиев, Саша Векслер, Теймур Мирзоев, Павел Амнуэль, Лара Есьман, Натик Джафаров, Ира Гринберг, Джаник Дадашев, Айдын Агаев, душа команды Алик Письман. Замыкают строй бурлаки.

* * *

Вот еще одна интересная судьба: Саша Векслер. Вскоре после окончания университета уехал в Израиль, и долго я о нем ничего не знал. Встретил в Москве в 1990, когда оформлял визу в Израильском консульстве. Саша как раз там работал. Оказалось, что в Израиле он окончил еще один факультет и много лет после этого работал в Мосаде, не разведчиком, но на какой-то тоже секретной должности. В 1990 его командировали в Москву, в консульство: помогать с оформлением документов, потому что тогда был огромный наплыв желающих уехать в Израиль, консульские работники не справлялись. Потом Саша нас встретил уже в Израиле, помогал на первых порах, когда мы иврита вообще не знали. Занимался политикой, сейчас на пенсии.



Разминка. Поглядите, как усмехается Лёня Амстиславский (второй слева), когда Алик Письман вопит верхнюю ноту в ответе: «Кто может сравниться с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей!» А мы с Мариком Берколайко, между тем, держим плакат вниз головой...

На музыкальном конкурсе мы решили исполнить популярную тогда песню «Зачем вы девушки красивых любите?» Трое: Юра Сорокин, Лёва Бух и я. Переоделись в женские платья, влезли в туфли на высоком каблуке (тогда я понял, КАК это – на каблуке ходить), вышли на сцену, врубили нам женское трио а-капелла, и мы изобразили. Жаль, никто нас в этот момент не сфотографировал. А конкурс тот мы выиграли.

Потом был выездной конкурс. В те годы, когда в Москве КВН показывали по телевидению в прямом эфире, такие конкурсы были очень популярны. Потом от них отказались, потому что мало ли что эти ребята могли притащить, отдувайся потом... А наш конкурс назывался «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Медики приволокли Бабу-Ягу, собственного переодетого студента. Все конкурсы обычно объявляли командам (и потом всегда так было) за сутки до встречи. Вот мы и стали думать, что привезти. А в

те дни в Баку гастролировал театр Райкина, и наш главный спец по выездным конкурсам Лёня Амстиславский решил сделать настоящую запись Райкина с обращением к нашей команде.

К Райкину никто не мог подступиться, он прогонял всех репортеров, ни с кем не общался, занимался только репетициями. Но Лёня пробился, и Райкин таки довольно много ему сказал – минуты на три. Было это уже в день игры, и часа за два до начала КВНа мы пошли в ателье грамзаписи и переписали интервью с Райкиным с диктофона на гибкие грампластинки, три штуки сделали три копии.

Думали, что выездной у нас в кармане, но жюри (а председателем был Юлий Гусман) не поверило, что это звучит голос настоящего Райкина.

«Да ну, – сказали, – это имитация, нечего нам мозги пудрить, никто к Райкину не может пробиться, а ваш Амстиславский сумел?»

И не засчитали. Очень было обидно.

Гусман, правда, потом извинялся, что не поверил, но... это было уже потом.



Нас приветствуют ребята из команды КВН СКБ Нефтехимприбор. Они принесли в зал львенка (того самого, который потом стал Кингом, снимался у Рязанова в «Необыкновенных приключениях итальянцев в России», а потом насмерть загрыз своих хозяев Берберовых). Команда СКБ впоследствии выросла в большого льва, в чем мы

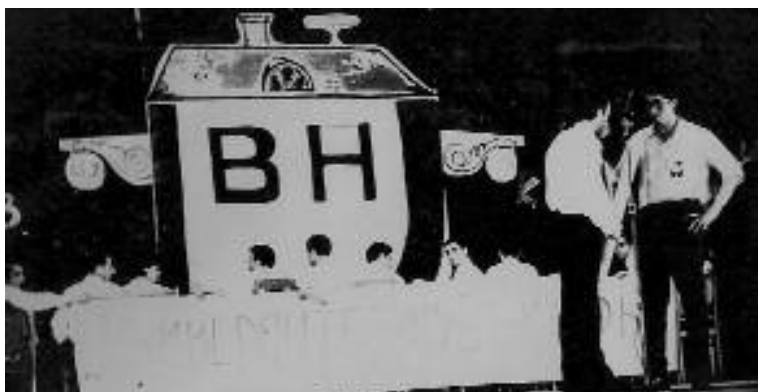
убедились очень скоро.

Домашнее задание «Университет вчера, сегодня и завтра». Первые дни университета – это первые дни революции. Первые студенты пришли в аудитории в бушлатах и рабочих спецовках (Это я тогда в альбоме написал. Так нам рассказывали. На самом деле, как выяснилось двадцать лет спустя, в годы перестройки, университет в Баку создали меньшевики-мусаватисты после того, как англичане расстреляли 26 Бакинских комиссаров. Первыми профессорами были вызванные из Питера преподаватели. Но в 1920, когда 11-я Красная армия во главе с Кировым прогнала мусавати-



стов, университет закрыли, и второй раз он открылся заново только в 1923 году.).

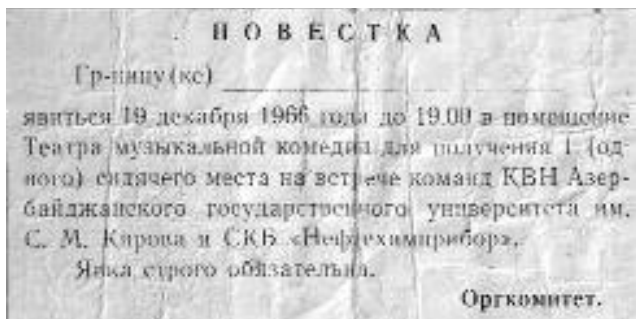
Медицинский факультет (действительно был такой в университете в тридцатых годах) в лице Марика Гринберга грозный завхоз (Леня Амстиславский) вышиб из университета. И пошел Гринберг по свету, и основал Медицинский институт.



Вторая часть домашнего задания: «Университет куёт кадры» (это написано на транспаранте).

Университет выиграл: 53:51.

* * *



19 декабря 1966 года Университет выступал против команды СКБ Нефтехимприбор.

Более чем на полгода повзрослел Бакинский КВН. Уже состоялась встреча между АЗИНХом и АЗПИ, причем АЗИНХ выиграл с большим преимуществом. Команда Университета готовилась к встрече долго, и вот, наконец, перед занавесом Театра музыкальной комедии появилась ведущая



Любовь Гинзбург, актриса Русского драматического театра им. Самеда Вургунга, и объявила о начале встречи.

Самолет Ту-104 команды КВН АГУ, направлявшейся на встречу со спарринг-партнерами из племени Угумба-юмба, потерпел катастрофу над Африкой. Команда спаслась, но оборванцы не знают дороги домой. Вот они, университетские голодранцы: Лёва Бух, Юра Сорокин, Павел Амнуэль и Эмин Алиев. Поют песню на мотив похоронного марша Шопена:



«Ту-104 прекрасный самолет, самый лучший в мире, самый надежный...»

Разминку ведет артист Русского драматического театра Лев Вигдоров.

Первый конкурс – выездной. На выезд отправляются Ира Гринберг, Леня Амстиславский, Саша Векслер и Руфат Мамедов. Они едут за елкой и Дедом Морозом. Елку привозят на мотоцикле в сопровождении эскорта ГАИ. Только природная скромность не позволила Амстиславскому въехать на мотоцикле в зал.

Домашнее задание «Что написано пером, того не выру-



бишь топором». Показывает Университет. Дуб с золотой цепью... Кот ученый...

Цепной ученый кот рассказывает зрителям трогательную историю про мальчика Сашу, в метрике которого ошибочно записали, что он девочка. А ведь что написано пером...

Историю мы придумали с Мариком Гринбергом, он сам хотел в ней сыграть и сыграл, вызвав в зале гомерический хохот. Марик был похож на шар – низенький и толстый, с волосатой грудью и большой лысиной. Меньше всего его можно было принять за девушку. А история была такая. В

те годы (да и потом тоже, за многие годы ничего не изменилось) влюбленные парочки по вечерам гуляли в Нагорном парке и на Приморском бульваре, там были темные аллеи, было удобно сидеть на скамеечках и целоваться, там росли большие кусты, где можно было не только целоваться, но и совершать другие «непристойные действия». Наши доблестные милиционеры обожали выслеживать парочки (это было легко) и появлялись перед ними в самый пикантный момент. Тут уж была альтернатива: или заплатить, или отправиться в отделение за нарушение общественного порядка. Конечно, все платили, и милиционеры на этом неплохо зарабатывали. Домашнее задание начиналось с такой сцены: парочка целуется на скамейке, подходит мент и требует: «Дай три рубля, а то опозорю девочку». Молодые откупаются и женятся.

Картина вторая. У молодой пары рождается сын, и отец идет регистрировать его в ЗАГС. Там много народа, и затурканный секретарь в графе «пол ребенка» ошибочно записывает «женский». Дальше начинаются приключения. Саша (которого играл Марик) так и живет с записью о том, что он не мальчик Александр, а девочка Александра. Когда ему нужно получать паспорт, он хочет, чтобы в паспорте пол был указан правильно, и его отправляют за соответствующей справкой к врачу. «Послали Сашеньку в больницу, чтоб на конец определиться». Врач справку не дает – мол, раз записано пером в метрике, то он не имеет права... хотя видит своими глазами, что Саша, безусловно, мальчик... Но документ важнее!

Финальная сцена: тот же парк, та же скамейка, теперь уже повзрослевший Саша (Марик) целуется с девушкой, подходит тот же мент и произносит ту же фразу: «Дай три рубля, а то опозорю девочку». Марик встает и достает из-за скамейки огромный паспорт (чтобы видно было даже из амфитеатра), где его фотография с голой волосатой грудью и большая над-



пись «пол: женский». У мента отваливается челюсть.

Немая сцена.

Финал этой истории драматичен. Сцена на бульваре. Девушка – Лара Есьман. Саша – Марик Гринберг. Милиционер – Эмин Алиев.

Кстати, три рубля милиционеры брали у парочек в шестидесятые годы. Позже ставки росли. В конце семидесятых



«визит мента» стоил червонец, а в середине восьмидесятых уже четвертак...

Финальная песня – парад команды. Даже Лева Бух ради

парада скинул лохмотья.



Красочное домашнее задание СКБ Нефтехимприбор. У них – история пера и топора с древнейших времен.

Команда СКБ выиграла домашнее задание, а с ним и встречу со счетом 49:40. Так лев СКБ показал свои когти. Но чего это стоило! Финальная песня гномов – и режиссер команды Леонид Вайнштейн пьет за кулисами валидол. (Кстати, Вайнштейн стал потом известным композитором, писал оперы, симфонии...)

После той встречи Гусман собрал городскую команду. Там уже всё было поставлено на серьезном уровне (индустриальные рельсы!): ЦК комсомола выделил деньги, тексты писали умудренные сценаристы, братья Виталий и Савелий Колмановские, оба ооооочень толстые. Один сейчас живет в Москве, другой – в Калифорнии. Виталий (который в Калифорнии) приезжал к брату несколько лет назад, а я как раз был в Москве, встретились, повспоминали... Оба брата уже не были такими толстыми, как раньше, скукожились как-то...

В городской команде я попал в сценарную группу (с Фрэдди Зориным, который сейчас тоже в Израиле, работает на русском радио). Мы с Фрэдди сочиняли «резину» – ответы, которые годились бы на любой вопрос. Во время

встреч стояли в кулисе, так, чтобы команда во время «размышления» на разминке могла нас видеть и слышать, а мы, соответственно, подсказывали ответы.

Поехали в Москву, первая встреча была с командой Куйбышева. Жили в гостинице «Спутник» на Ленинском проспекте. За сутки, как обычно, дали нам вопросы конкурсов, засели мы писать.

В конкурсе капитанов было задание: сочинить стихотворное буриме, где последними словами в строчках были бы «хуже, жена, муже, одна». Сидим мы в номере Гусмана, выдавливаем варианты, все уже без сил, три часа ночи... Входит Володя Портнов, поэт, переводчик, он великолепно переводил с французского: Бодлера, Вийона... Портнов прилетел позже команды, вошел и сидит, слушает. Потом тихо говорит: «Ребята, что вы мучаетесь, это же из «Онегина»:

Что может быть на свете хуже,
Когда любимая жена,
Грустя о недостойном муже,
Скучает вечером одна...

Все отпали... Портнов почти всю русскую поэзию наизусть знал. Тот конкурс мы выиграли, естественно.

А на мою долю досталось подготовить конкурс – «Каких Венер вы знаете?» Засел я в Ленинке и откопал столько Венер, что перечислять их можно было долго. Каких, оказывается, только не было... Штук двадцать минимум, начиная, естественно, от Милосской.

Это была часть конкурса капитанов. Гусман гордо вышел и отбарабанил весь список, уверенный, что куйбышевский капитан столько не знает. Тот действительно не знал, но он вспомнил Венеру Майсурадзе, очень известную тогда эстрадную певицу! КВН – это все-таки не «Что? Где? Когда?!» За Майсурадзе он и получил очко...

А наша группа охраны (была и такая) вылавливала ночью в гостинице куйбышевских шпионов. «Враги» засылали

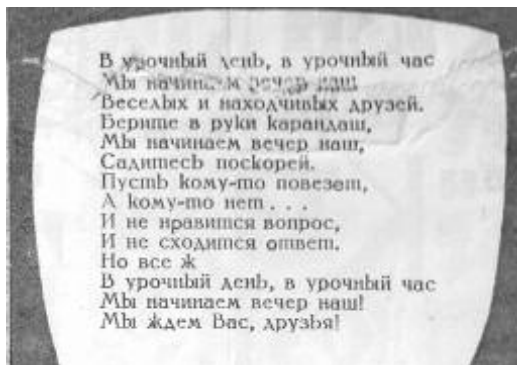
своих «агентов», чтобы те подслушали и подсмотрели наши репетиции и рассказали «своим», что да как. Двоих выловили при исполнении и заперли в номере у Лёни Амстиславского. Отпустили только после того, как на телевидении началась передача, шедшая в те годы в прямой трансляции.

А еще был конкурс (выездной) «От Баку до Куйбышева», и мы придумали маршрут по Москве от ресторана «Баку» до улицы Куйбышева – прошли, записали на видео (с нами ездил оператор с телевидения).

Это была первая победа бакинской сборной, и первый КВН, где Юлик Гусман был капитаном.

Потом были другие встречи, Баку стал чемпионом, потом чемпионом чемпионов, но уже без меня. Я тогда начал работать в обсерватории, не мог участвовать во всех репетициях, да и вообще интересы сместились: надо было диссертацию писать, совсем другая история... Получил за участие в республиканской команде КВН и выступления по Центральному телевидению Почетную грамоту от ЦК комсомола. Давным-давно куда-то ее дел. Смешная, кстати, была грамота – с двумя грамматическими ошибками.

В июле 1968 года команда КВН Баку с капитаном Юликом Гусманом стала чемпионом страны. А что, если бы не было той, первой встречи физиков, математиков и востоко-



ведов? Если бы не было голодранцев из АГУ? Что, если?..

Часть 3

ГДЕ-ТО В ГОРАХ...

Шемахинская астрофизическая обсерватория расположена в замечательно красивом месте – у подножия горы Пиркули, на высоте 1,5 километра. Когда выбирали место для будущей обсерватории, экспедиция прибыла на плато в горах в 22 километрах от Шемахи в августе. Именно в августе (а еще в январе) там потрясающе чистое и ясное небо, идеальный астроклимат. Построили обсерваторию. А оказалось, что весной и осенью там сплошные туманы (обычные облака опускаются и накрывают плато), и наблюдать невозможно.

«Надо было, – говорили потом, – хотя бы на карту посмотреть, на названия соседних деревень».

Назывались эти деревни в переводе на русский язык очень красноречиво: «Плохая погода», «Туман», «Дождь»...

Обсерватория, вид со стороны забора.

* * *

Со стороны дороги, которая вела к ближайшей деревне – Кировке (она же Марьевка), территория обсерватории была обнесена забором, и в воротах стоял милицейский пост. Но метров через сто забор заканчивался, и пройти в поселок со стороны плато не составляло труда. Местным жителям, однако, лень было проходить лишние метры, а предъявлять документы постовому милиционеру, тем более, ни у кого не было желания. И большинство лазило в обсерваторский поселок через забор, благо это тоже не составляло проблемы.



Как-то вечером вскоре после того, как я начал работать в обсерватории, сидели мы с приятелем на скамейке у забора и о чем-то разговаривали. Смотрим: перелезает через забор мужчина лет шестидесяти. Вежливо здоровается, мы отвечаем. Он присаживается рядом, заводит разговор о погоде. Так мы вяло переговариваемся минут пять, а потом он спрашивает:

– В поселке телефон есть?

Дело было в конце шестидесятых, телефонов в окружающих деревнях тогда не было вообще, а в обсерватории – только на почте и в кабинетах, расположенных в Главном здании, да и то не во всех.

– Есть, – говорим, – там, на почте. А что?

– Надо в милицию позвонить, – глядя на звезды, отвечает селянин.

– Что-нибудь случилось?

– Жену я сейчас убил, – без эмоций сообщает он. – Придется наряд вызвать, протокол составить.

У нас отваливаются челюсти. С нами о погоде разговаривал убийца!

– А... почему? – спрашиваю я. Наверняка же не скажет...

– Не знаю, – пожимает он плечами. – Поссорились.

Встает и бодрым шагом направляется к домику почты в конце аллеи.

А мы продолжаем с приятелем сидеть и смотреть на звезды. Но уже другими глазами.

* * *

В обсерватории в те годы был единственный магазинчик, где продавали хлеб, молоко, спички и кое-какую бытовую мелочь. Еще в поселке была столовая, где повар готовил единственное известное ему блюдо: кюфта-бозбаш. Что-то вроде супа-харчо с огромной фрикаделькой, внутри которой была целая алыча. Сотрудники (и я, конечно, тоже) в понедельник приезжали «на гору», в пятницу уезжали домой, в город, и продукты привозили с собой из Баку. В коттедже, где, кроме меня, жили еще трое сотрудников, и мы организовали коммуны, скидывались, готовили еду на всех. Обычно готовил Шурик Рахамимов, благо он это умел, а мы трое – Женя Гольдберг, Миша Рудзский и я, – обеспечивали продуктами.



На балконе нашего коттеджа, 1975, декабрь.

В те годы я много чему научился – делать хороший плов, в частности.

Однажды я купил в бакинском рыбном магазине огромную селедку. Она выглядела так аппетитно, что в первый же день, приехав в обсерваторию, я приготовил салат и к нему нарезал привезенную селедку. Сели за стол – разумеется, разговаривая, споря и не обращая большого внимания на то, что ели.

– Что-то селедка сегодня не очень соленая, – поморщившись, сказал Шурик.

– Да, – согласился Миша. – В прошлый раз была лучше.

Ничего, съели и так. Селедка действительно оказалась совершенно пресной и безвкусной. Но за разговорами...

Ночью у всех были проблемы с желудком. Врача в обсерватории не было, на ниве медицины трудился фельдшер – молоденький парень по имени Толик, только что из института. Послушав наши рассказы, он определил диагноз с уверенностью земского доктора:

– Нечего было сырую рыбу жрать. Она хвостом не била, когда ты ее покупал?

Вопрос был ко мне, и ответить было нечего. Пожалуй, я действительно перепутал...

* * *

Коттеджи, в которых жили сотрудники обсерватории, стояли на земле, и вокруг копошилось много всякой живности – в том числе полевые мыши, которые находили любые дыры, забирались в комнаты, пытались воровать продукты, а однажды...

Лёва Цирульник, живший в соседнем коттедже, рассказывал:

– Снится мне дурацкий сон, будто я играю с кем-то в гляделки. Смотрим мы друг другу в глаза, и я не понимаю, кто передо мной – какое-то невидимое существо... В страхе про-

сыпаясь и вижу перед собой два глаза. Смотрят. Светятся в темноте. Неподвижно. И так пристально... Пригляделся, привык к темноте. Оказалось, это мышь – сидит у меня на груди, на одеяле, и смотрит в глаза. Я дернулся, и она, конечно, дала деру...

По вечерам обычно собирались у нас в коттедже – те, кому не нужно было в ночь на наблюдения. Все были молодые, лет по двадцать пять – тридцать, веселились, играли, спорили. Самыми заядлыми спорщиками были Лёва Цирульник и Шурик Рахамимов. Они пикировались до тех пор, пока не выбивались из сил, но истина в их спорах не рождалась никогда. По этому поводу я как-то сочинил эпиграмму, которую помню до сих пор:

Всех обсуждений принципы поправ,
Они сидят, от споров окосев.
Всем ясно: если Рахамимов прав,
То очевидно, что Цирульник – Лев.

* * *

Когда Женя Гольдберг залезал в ванну, слышно было во всем поселке, потому что он во весь голос орал песню «Летят утки». В ванной время от времени прыгали лягушки и бегали полевые мыши, и Женя с ними расправлялся кулаком – потом сам же оттирал остатки со стен...

С Женей мы через много лет вместе три года работали в Тель-Авивском университете – я в теоретическом отделе, сидел один, посылал статьи в журналы, так три года и прошли (министерство науки дало трехлетний грант), а Жена, наоборот, ездил в обсерваторию в Мицпе-Рамон, на наблюдения, потом обрабатывал результаты, все время был в коллективе... А когда три года прошли, нам обоим отказали в дальнейшем финансировании. Мне сказали: «Да, у вас есть степень, есть хорошие работы, публикации, но вы не влились в коллектив, работали один»... А Жене: «Да, вы влились в

коллектив, много наблюдали, но у вас нет степени, нет публикаций»... Наверно, если бы из нас с Женей сделали одного сотрудника, то все было бы в порядке?

* * *

По вечерам собирались у кого-нибудь в комнате и веселились: во всякие игры играли типа «Угадай фильм по мимическому объяснению», истории рассказывали, гулять ходили, если погода позволяла (летом-то всегда, а зимой бывало холодно и туманно). Пару лет я там устраивал музыкальные вечера: раз в неделю слушали какую-нибудь оперу от начала до конца (с моим комментарием).

Иногда на наши посиделки заглядывал директор – его коттедж находился рядом с нашим, и ему было слышно, как мы бесимся. Он вваливался с грозным видом, оглядывал всю компанию, внимательно рассматривал висевший на степе большой постер (Эйнштейн с высунутым языком) и всегда говорил одно и то же:

– А, это вы с ним тут... Ладно, продолжайте.

И исчезал так же быстро, как появлялся.

* * *

Директор Гаджибек Фараджуллаевич Султанов был фигурой по-своему интересной. Занимался он исследованием происхождения астероидов, но большую часть времени тратил на решение хозяйственных проблем, прием гостей из Академии и Москвы (из-за чего название нашей обсерватории расшифровывали не Шемахинская астрофизическая обсерватория, а Шашлычная астрофизическая обсерватория). Русский язык он знал хорошо, но иногда подписывал такие приказы, что, читая их на доске объявлений, сотрудники (кто понимал второй смысл) держались за животики.

Однажды пришла устраиваться на работу девушка из соседнего молоканского села. Звали ее Анной, она только

окончила школу и хотела поработать секретаршей. Но в дирекции места не нашлось, и на доске объявлений появился приказ:

«Шабанову Анну Ивановну оформить секретаршей и передать заведующему лаборатории Керимбекову Рустаму для использования по собственному усмотрению».

Сам Керимбеков тоже как-то прославился, написав в Академию анонимное письмо. Дело в том, что в середине семидесятых обсерваторию захлестнула волна анонимок. Писали, скорее всего, от скуки – ничего криминального или просто интересного в анонимках не содержалось. В те годы полагалось реагировать на «письма населения», и из Академии приезжали комиссии, разбирались, писали отчеты и заключения, людям было интересно и познавательно. Однажды приехала комиссия разбираться с анонимным письмом, которое началось так:

«В Президиум АН Азерб. ССР

От руководителя лаборатории Керимбекова Р.А.

Я, Керимбеков Рустам Агамир-оглы, номер паспорта такой-то, адрес такой-то, пишу настоящую анонимку в том, что...»

О чем сообщал Керимбеков, я уже не помню, но на анонимщика потом долго указывали пальцем...

В лаборатории Керимбекова работал Ровшан Аскеров, который был гораздо умнее своего начальника, но не продвинулся по служебной лестнице из-за лени и нежелания толкаться локтями. Ему хватало зарплаты старшего научного сотрудника, и в свободное от работы время он предпочитал смотреть телевизор, а не подсматривать, чем занимаются другие сотрудники.

Однажды в ГДР отправилась делегация из Азербайджана, в состав которой был включен и Ровшан. Немецкого языка никто из «наших» не знал, и всех беспокоило, как они в Берлине будут объясняться.

– Не нужно беспокоиться! – заявил Ровшан. – В Германии все прекрасно понимают азербайджанский. Говорить не могут, но все понимают.

Разумеется, ему не поверили. В Берлине, однако, он говорил только по-азербайджански. Не на серьезные темы, конечно, но в магазинах, на рынке, в других общественных местах он спокойно объяснялся по-азербайджански, и никаких проблем с пониманием не возникало. Правда, в разговоре Ровшан так жестикулировал и жестами объяснял, чего хочет, что мог, наверно, говорить на папуасском или даже по-марсиански – результат был бы тот же.

Время от времени в обсерватории устраивали занятия по гражданской обороне. Приезжал из Баку майор, рассказывал, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях, как защищаться от атомного взрыва и какие команды должны военнослужащие запаса отдавать гражданскому населению. Рассказав все о командах, майор вызвал Ровшана, поскольку среди нас он единственный имел воинское звание старшего лейтенанта запаса, остальные были не выше сержанта, а я так вообще рядовой, годный к нестроевой службе в военное время. Выходит Ровшан, и майор дает вводную

– У вас двадцать человек, и нужно вырыть траншею раньше, чем противник достигнет территории. Ваша команда?

– В укрытие! – отвечает Ровшан.

Немного смущенный, майор пожимает плечами и дает другую вводную, на что Ровшан бодро командует:

– В укрытие!

Когда в пятый раз Ровшан отправил своих подчиненных в укрытие, майор сдался...

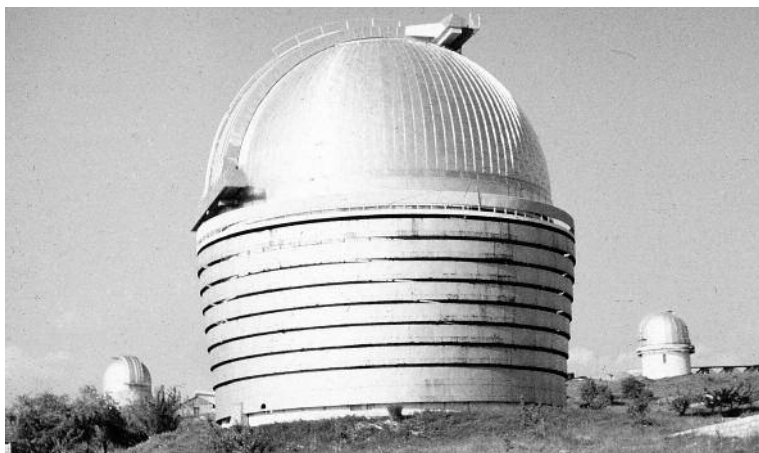
* * *

Приехал к нам как-то принц из Эмиратов. Привезли его утром, чтобы к вечеру, после банкета, увезти. Директор повел

его показывать телескоп – тогда наш двухметровый был вторым по величине в Европе (после крымского). Показал, а принц говорит: «Хочу в телескоп на звезды посмотреть и на Луну». Ему объясняют: день, мол, какие звезды? Так он принц или кто? «Хочу, – говорит, – и всё, покажите звезды». Дело едва не дошло до международного скандала, но директор как-то вывернулся. Уехал принц не очень довольный – тем более, что ему-то и вина не предложили, мусульманин все-таки. Это наши «мусульмане» пили и вино, и водку иногда, но он-то был настоящий...

Кстати, о мусульманах. В республике советская власть, атеизм. Мечети в Баку позакрывали давно, оставив две, самые большие и красивые. Но зато были сотни подпольных мечетей, о которых все знали.

Мусульмане весной отмечают Новруз байрам – праздник равноденствия. Новруз начинается в тот момент, когда Солнце пересекает эклиптику. И каждый год в марте в обсерваторию звонили из ЦК партии и спрашивали: когда точно начнется этот важный для антирелигиозной партийной агитации праздник. «Наверху» тоже Новруз отмечали...



* * *

Лабораторией теоретической астрофизики заведовал Тимур Абдулович Эмин-заде. Добрейший человек (а были ли злые люди в обсерватории? Таких не знаю). Занимались в этой лаборатории исследованием внутреннего строения белых карликов, строили математические модели распределения вещества в недрах звезд. Сейчас все это делают на компьютерах, и расчет модели занимает минуты. А тогда считали на логарифмической линейке, каждая итерация (шаг) в вычислении занимала чуть ли не часы, ведь уравнения состояния вещества в звездах были очень сложными. Поэтому Эмин-заде был человеком не только добрым, но и терпеливым. И обладал цепкой памятью на числа. Он наизусть помнил все мировые постоянные с точностью чуть ли не до двадцатого знака. Мне пришлось сдавать ему экзамен по кандидатскому минимуму, и первым его вопросом было: «Скажи-ка, чему равна гравитационная постоянная?» И нужно было назвать не меньше десяти знаков. Конечно, я не помнил. Ответить по примеру Эйнштейна («Надо посмотреть в справочник») было бы невежливо, а, с другой стороны, отношения у меня с Тимуром Абдуловичем были хорошие, и он по доброте своей сказал: «Забыл, бывает, ты вспомни, приходи. Я тебе сейчас подпись поставлю, а ты как-нибудь потом...»

Он никогда никому не отказывал, но никогда никому ничего и не обещал твердо, самое известное его выражение было: «Наверно, по-видимому, возможно, вероятно, но вряд ли».

А расчеты распределения вещества в белых карликах он, в отличие от всех теоретиков, начинал не из центра звезды, а от ее поверхности. Как обычно считают? Задают массу звезды, плотность вещества в центре, и ведут расчет от центра наружу, наращивая массу. Когда масса достигает заданного значения, то на этом расстоянии расчет и заканчивается – этот радиус оказывается радиусом звезды. А если считать

от поверхности внутрь, то радиус нужно задать заранее, и у Эмин-заде часто получалось, что масса заканчивалась, брать вещество было уже неоткуда, а до центра оставалось еще довольно большое расстояние. Когда на семинаре он доклады-вал результат, его ехидно спрашивали:

«Ну, и что там у вас внутри?»

На что он смущенно отвечал:

«Там у меня дырка»...

* * *

Весной и осенью в Пиркулях можно было заниматься только теорией, обрабатывать результаты наблюдений. Большинство сотрудников завело себе огороды, сады, выращивало отличные урожаи помидоров, огурцов... Двое завели пчел, так что мед у нас там свой был. Кстати, отличный.

А технический персонал набирали из местных молоканских сёл – из Кировки, в основном. Из Кировки был и дядя Ваня, отставной майор, начальник первого отдела. Поскольку других сотрудников в отделе не было, то дядя Ваня был сам себе начальник. Первый отдел контролировал секретность, а какие государственные тайны в обсерватории? Разве что приезжали иногда из Москвы наблюдатели со своей аппаратурой, и тогда в здание двухметрового телескопа никого из наших не пускали, москвичи сами навешивали приборы на телескоп и наблюдали за спутниками – в основном, американскими. Уточняли орбиты.

Основной работой дяди Вани было изъятие из лабораторий пишущих машинок перед праздниками. К примеру, шестого ноября с утра все пишущие машинки нужно было принести в комнату дяди Вани, тот их внимательно пересчитывал, сверял инвентарные номера со списком, после чего запирали комнату на секретный замок и пломбировали. Утром после праздника он комнату отпирал, и сотрудники являлись в первый отдел, чтобы забрать машинки.

Кроме этого дядя Ваня занимался оформлением допусков, а поскольку допуск надо было оформлять от силы трем сотрудникам в год, то дядя Ваня скучал, весь день бродил по кабинетам и трепался. Или пил с кем-нибудь.

Моим научным руководителем и руководителем нашей лаборатории, носившей название «Физика звездных атмосфер» (вот чем мы НИКОГДА не занимались, так это звездными атмосферами!), был Октай Гусейнов, замечательный ученый, человек с богатой научной интуицией, что редкость во все времена.

Аспирантуру он проходил у академика Якова Борисовича Зельдовича, и, вернувшись домой, в, Октай, конечно, сохранил московские связи и по многим вопросам советовался с Зельдовичем. В начале семидесятых, начав работать над диссертацией, я тоже стал ездить в Москву в командировки, выступал на семинарах в ГАИШе, где Зельдович был председателем (ОАС – объединенный астрофизический семинар), обсуждал проблемы с сотрудниками Якова Борисовича и с ним самим, а еще с Иосифом Самуиловичем Шкловским и его сотрудниками. Это были очень интересные встречи и обсуждения, но сейчас речь пока не о них. В начале семидесятых отдел Зельдовича перешел из Института Прикладной Математики (ИПМ) в новый Институт Космических Исследований (ИКИ). В этом институте были не только (и не столько) теоретические отделы, но и отделы, где проектировали приборы для спутников, а потом обрабатывали полученные результаты. В ИКИ существовал режим секретности, и без «допуска» туда не пускали.

Надо было ездить в командировки в ИКИ, значит, нужно было оформить допуск. Было три формы допуска. Третья – самая простая: можно работать с некоторыми секретными документами, но приборы трогать (и даже видеть их) нельзя. Вторая форма – секретность более высокая, можно и с приборами работать, и секретные документы по нуж-

ной теме читать. А первая форма была только у совсем уж продвинутых – у работников космодрома, ракетчиков, космонавтов...

Пришел я к дяде Ване с бумагой.

«Давай, – говорит он, – сделаю тебе вторую форму, на х.. тебе третья?»

Я говорю, что мне как раз вторая на х.. Потому что, во-первых, не дадут, только время потеряем, а во-вторых, если у меня будет вторая форма, то фиг за границу пустят. Правда, я тогда ни разу за границу не ездил и не собирался, но мало ли... Слышал истории, когда знакомых москвичей из-за этой формы не выпускали на международные конференции.

«Ладно, – сказал дядя Ваня. – Третья так третья».

Обычно третью форму оформляли быстро – недели за три. Но прошло три месяца – ничего.

«Наверно, у тебя родственники за границей», – говорил дядя Ваня.

На четвертый месяц пришли бумаги – вторая форма. Дядя Ваня смеется:

«Ничего, -говорит, – не горюй, пригодится».

И оказался прав. Если бы не вторая форма, меня в ИКИ дальше библиотеки не пускали бы, а так я ходил куда хотел, во все отделы, разве что в самые секретные не заходил – не потому что второй формы было недостаточно, но туда нужно было отдельный пропуск выписывать, было неохота, делать мне там действительно было нечего.

К приборам я имел очень косвенное отношение – теоретик, ни к чему мне были железки, тем более, что данных, на самом деле, с наших спутников поступало очень мало по сравнению с американскими и английскими. И работали наши приборы в очень, по тем временам, неудобном диапазоне: они улавливали слишком жесткое излучение – нейтронные звезды, которые были нам интересны, излучали в более мягком спектральном диапазоне.

* * *

Когда еще в шестидесятых годах покупали у немцев, на предприятии «Цейс» большой телескоп с зеркалом диаметром два метра, одновременно в Ленинграде на ЛОМО заказали по тем временам тоже большой телескоп так называемой системы Шмидта. Это такая система, где в центре главного зеркала делают отверстие, и свет звезды сначала отражается в большом зеркале, оттуда попадает на маленькое, с маленького опять отражается к большому – как раз чтобы пройти через отверстие в центре, за которым стоит спектрограф или фотокамера. Самый большой в мире Шмидтовский телескоп имел зеркало около метра в диаметре. А для нашей обсерватории заказали зеркало диаметром 90 см. Таких в мире тоже было мало. В начале семидесятых в Ленинграде телескоп был готов, и его отправили в Пиркули. Это много контейнеров, больших и малых. Само зеркало в самом большом ящике.

Привезли, сложили на складе. В то время еще не была готова башня для телескопа – ее строили на Главном здании, недостроенная башня видна на фотографии.



Лет пятнадцать здание так и выглядело – не было денег достроить башню и поставить купол. Когда уже началась пе-

рестройка, Академия, наконец, выделила деньги, купол быстро достроили, и надо было «расконсервировать» телескоп. Пошли на склад с описью, нашли в целости и сохранности всё, что там пятнадцать лет лежало. Все, кроме главного зеркала! Как корова языком слизнула. Это же самый большой ящик! Его даже вынести очень трудно – он очень тяжелый. И зачем? Кому сдалось параболическое зеркало с дыркой? Стали искать – может, за эти годы просто переложили на другое место? Так и не нашли. Ситуация тупиковая: телескоп в полной комплектации, а зеркала нет. И непонятно, кому оно понадобилось.

Так и не нашли. И что делать? Зеркало – самое дорогое, что есть в телескопе. Заказать новое денег в то время уже не было. Много лет спустя все-таки заказали новое зеркало, и достроили башню.

* * *

Истории в обсерватории приключались почти мистические. Кстати, о мистике. Колоритнейшей фигурой был заместитель директора по общим вопросам Фатуллаев. Большой, грузный – габаритами он напоминал незабвенного Черномырдина и был так же колоритен. Точнее, наоборот – это Черномырдин много лет спустя напоминал мне незабвенного товарища Фатуллаева.

Человек он был очень осведомленный – не в науке, а в делах обсерваторских. Он знал все обо всех: слухи, разговоры, кто с кем, кто куда, кто за чем... И оценивал он сотрудников по своей собственной шкале. Об одном он говорил: «Ах, этот, он одно знает, сто не знает». Это была самая уничтожительная характеристика. Другой заслуживал большего: «Ты одно знаешь, двадцать не знаешь». Очень высоко Фатуллаев оценивал директора: «Одно знает, другое не знает». Но самым знающим был, естественно, сам Фатуллаев, он знал всё обо всех.

В астрономии он не понимал ничего. Но ему и не надо было. Зато он умел другое. Под землей в поселке были проложены трубы – подводить воду к домам и коттеджам. Трубы ржавели очень быстро и почти каждый месяц где-нибудь лопались, вода уходила в землю. А где утечка – кто знает... Тогда на сцене появлялся Фатуллаев. Он выходил на главную дорогу, под которой проходила большая часть труб, и медленно по ней шел, заложив руки за спину и погружившись в думы. Шел себе и шел. Вдруг останавливался, топал ногой и говорил: «Здесь». Пригоняли бульдозер, вскрывали асфальт... Он НИ РАЗУ не ошибся! Разрыв трубы был именно в том месте, где Фатуллаев топал ногой. Как он узнавал, где находился обрыв – тайна. Сам он говорил, что просто чув-



Главная дорога поселка. Видны «фатуллаевские заплаты»... ствует.

Фатуллаев долгие годы был в обсерватории председателем профкома. И только в начале восьмидесятых во время какой-то рутинной проверки выяснилось, что он вообще не член профсоюза...

И еще Фатуллаев прославился в начале семидесятых тем,

что первым в республике решил: чтобы сотрудники в дни зарплаты не стояли в очереди в кассу, переводить деньги на сберегательные книжки. Каждый сотрудник открыл в какой-нибудь Бакинской сберкассе счет, на который зарплату и переводили. Теоретически. Потому что на практике нормально перевели только один раз. А потом деньги уходили неизвестно куда – на счета сотрудников они поступать перестали. Месяца два я тоже ходил без зарплаты, а Фатуллаев всем говорил, что произошла арифметическая ошибка, бухгалтер не ту цифру поставил в бумаге, ошибся в номере счета, вот деньги и ушли куда-то. Оттуда вернут, и мы всё исправим. Раньше что-то не замечали мы, чтобы наш бухгалтер в цифрах ошибался. Как бы то ни было, месяца через два нововведение было отменено, опять народ толпился в очереди у кассы, а деньги, что ушли неизвестно куда, так и остались неизвестно где. У кого глотка была крепче, те себе зарплату отбили, а у кого нет... Ругаться с начальством я никогда не умел, так что остался без зарплаты.

* * *

Отделом истории астрономии руководил милейший дядя по фамилии Мамедбейли. Он всю жизнь изучал творчество азербайджанского астронома XII века Насреддина Туси. Вообще-то Туси был персом, но других кандидатов на изучение не было вообще, а потому Туси был объявлен азербайджанским астрономом. Всё его наследие состояло из единственного труда о положении звезд, и изучить это можно было максимум за год. В обсерватории много лет работала целая лаборатория: пять человек, включая Мамедбейли. Заниматься одним Туси было скучно, и они выпускали каждый год красочные настенные астрономические календари. А еще Мамедбейли придумал «теорию видимого движения». Это уже было полным бредом. Он написал много статей, в которых доказывал, что тела на самом деле движутся не так, как мы

видим. И планеты движутся не по тем орбитам. Но больше всего нас добило его утверждение (на Ученом совете, между прочим), что мы даже под дождем ходим неправильно и держим зонты не так, как надо. По его теории выходило, что зонт надо держать не над головой и не перед собой, а наоборот – чуть сзади, за спиной. На резонное замечание: «А ты сам так пробовал?», он гордо сказал, что всегда так зонт и держит, и ни разу не намок. К его (или к нашему?) счастью, дело было летом, дождя для проверки теории не предвиделось, доклад прошел, статью опубликовали в «Циркуляре ШАО», в отчете Мамедбейли написал, что проделана большая работа...

Но и этого было мало – все же пять человек надо чем-то занять. И Мамедбейли занимался усовершенствованием ПСВ: простых солнечных водонагревателей. Вообще говоря, такие нагреватели в Израиле стоят на крыше всех домов уже давно. Летом нагревают воду почти до кипения. А в Баку в те годы о таком никто не слышал. Мамедбейли носился со своим проектом, требовал денег на экспериментальную установку, получал, строил, установка не работала, воду не грела, хотя зеркала были хорошие. Самый большой ПСВ стоял во дворе Академии в Баку – плоское зеркало размером метра три, бачок с водой, все как положено... Но не грелась вода, хоть тресни.

Когда Мамедбейли умер в середине восьмидесятых, мы с шефом долго рассуждали, на что человек потратил жизнь: на пустую видимость. Фактически ничего, что он делал (да еще с сотрудниками), не имело никакого смысла, но зарплату он получал как завлаб и доктор наук, премии всякие за ПСВ, который потом так и сгнил во дворе Академии. Зонтики всё равно все держат не так, как требовал Мамедбейли...

Но человек он был хороший, отзывчивый.

Лабораторию, конечно, закрыли.

* * *

Середина семидесятых в обсерватории была для меня самым замечательным временем. Но тогда все представлялось иначе: проблем хватало, но, если смотреть из сегодняшнего далёка, то те проблемы выглядят ерундой, зато все остальное... Молодость, интереснейшая работа, семья (дочка маленькая), прекрасные друзья... Плюс то, чего я тогда совсем не ценил – потрясающая природа! Можно было каждый день



ходить в лес, взбираться на склоны горы, спускаться к речке, бродить по лугам, собирать ежевику, шиповник...

А по ночам летом и зимой светили такие звезды, каких я никогда нигде больше не видел – небо казалось таким близким, что, казалось, протяни руку... И запах скошенного сена в конце лета... И огромные снежные сугробы зимой... Ката-



ние на санках в воплях и хохотом... Споры до хрипоты, вчера с танцами и играми...

В 1976 году неподалеку от обсерватории Азербайджанфильм снимал картину «Дервиш взрывает Париж» по произведению классика азербайджанской литературы Мирзы Фатали Ахундова. Как-то под вечер шеф мне сказал, что прибыл актер Юрский, здесь он впервые, и хорошо бы ему показать обсерваторию.

«Ты, – говорит, – все тут знаешь, зайди к нему»...

Я не представлял, как приду к незнакомому человеку, известному и любимому актеру... Что скажу? Для храбрости позвал с собой Сашу Рольникова, электронщика, тот был гораздо более коммуникабельным, и вдвоем мы могли рассказать Юрскому все, что надо.

Постучались в номер, получили приглашение войти. Юрский (я его сразу узнал, такое узнаваемое лицо!) сидел за маленьким столиком у окна, перед ним стояли два пустых граненных стакана, а под столом – пустая бутылка «Столичной».

«Ни фиги себе» – подумал я, мы с Сашей переглянулись, и наше мнение о Юрском катастрофически упало. А Юрский нас подозрительно осмотрел, особенно руки (ничего мы с собой не принесли), после чего пригласил сесть и спросил:

– Ребята, что за странные порядки в вашей обсерватории?

Мы удивились: в чем дело?

– Понимаете... – продолжал Юрский. – Приехал я, только разложил вещи, открывается дверь, входит молодой человек, представляется оператором картины и говорит: «Давайте выпьем за знакомство по стакану водки». Я вообще-то не любитель этого дела, но... У него с собой и бутылка, и стаканы. Выпили, минут пять поговорили, и он ушел. Тут же опять открывается дверь, входит другой молодой человек, представляется помощником режиссера и говорит: «Давайте выпьем за знакомство по стакану водки». Стаканы мне оставил опе-

ратор, а бутылка у помрежа была с собой. Знаете, что меня поразило больше всего? Я понимаю – выпить за знакомство, ладно. Но было сказано очень конкретно: по стакану водки. Это тут обычай такой?

– Нет, – сказал я. – Вообще-то мы вино пьем.

– И сколько человек с вами сегодня знакоилось? – мрачно спросил Саша, прикидывая нанесенный здоровью Юрского ущерб.

– Трое. Третьим был осветитель, он вышел только что. А вы, вижу, не принесли...

– Нет, – смутились мы, решив, что надо бы, наверно...

– Слава богу! – обрадовался Юрский. – Так давайте поговорим! Тут у вас прекрасно!

И мы поговорили. Обо всем на свете. Собеседником, не смотря на три выпитых стакана водки (как потом оказалось, еще и вино было добавлено), Юрский был замечательным. Сейчас я уже не помню деталей, но время пролетело быстро. Почему-то вспоминается один момент:

– Ребята, – вдруг спросил Юрский, – не знаете ли вы, что такое лесная шишига?

Мы не знали. Видимо, речь шла о русском фольклоре, и шишига, скорее всего, что-то вроде лесной феи? Этот вариант я и представил на рассмотрение.

– Это я и сам понимаю, – вздохнул Юрский. – Фея, нимфа... Но кто конкретно? Понимаете, я не могу читать со сцены стихотворение, если хотя бы одно слово в нем мне не совсем понятно или не могу схватить интонацию. А здесь в библиотеке ни одной книги по русскому фольклору!

Естественно. Откуда в астрономической библиотеке такие книги? И найти их негде.

Посетовали мы на недостаток информации, а Юрский неожиданно вспомнил другое:

– Да! – сказал он. – Меня в Баку предупреждали, что в Шемахе потрясающее вино (мы закивали – так, мол, и есть). И

можно дешево купить целый бочонок (верно, кивнули мы опять, мы платим рубль за литр). Так что когда меня сюда привезли, я еще вещи не распаковал, приходит ваш какой-то начальник, вроде замдиректора, и говорит, что, если мне нужно хорошее вино, то прямо сейчас меня могут отвезти в совхоз и налить полный бочонок.

И Юрский описал свое путешествие. Его посадили в «уазик» (как мы с Сашей поняли, это была машина замдиректора Фатуллаева) и повезли по грунтовой дороге, сворачивая то вправо, то влево. Мы с Сашей переглянулись – вообще-то, если выехать за первый пост, то дальше дорога асфальтовая, разветвляется и ведет в разные села, в том числе и в совхоз. Грунтовая дорога только на территории самого поселка, да и то не везде. Куда же повезли Юрского?

– Приехали мы к какому-то дому, похожему на сарай, рядом высокая желтая труба...

Мы поняли: беднягу несколько раз покрутили вокруг обсерватории и привезли к котельной, до которой можно было дойти от гостиницы пешком за три минуты.

– Вошли мы в темное помещение, и там действительно стояла большая деревянная бочка.

Мы поняли: это был директорский винный запасник. В обсерваторию часто наезжали высокие и не очень высокие гости, всех надо было поить вином и кормить шашлыками, вот и поставили большую бочку, в которой всегда было хорошее вино.

– А дальше, – продолжал Юрский, – начались приключения. Открыли кран, а вино не течет. Парень, который меня привез, говорит: «Уровень низкий, нужен шланг». Ищет вокруг и ничего подходящего не находит. Лезет в багажник уазика и вытаскивает резиновый шланг, от которого несет бензином. Вытаскивает из бочки затычку, сует туда шланг и протягивает мне второй конец со словами: «Надо немного пососать, чтобы потекло». Я с опаской сую шланг в рот и

сосу... чистый бензин. Отплеываюсь, глаза на лоб, а парень говорит спокойно: «Ничего, это остатки, сейчас вино пойдет». И действительно: когда я выпил весь бензин, что оставался в шланге, потекло вино, но вкуса его я уже не ощущал. Оно действительно хорошее?

– Замечательное! – подтвердили мы, покосившись на стоявший в углу бочонок.

– Так выпьем за знакомство! – воскликнул Юрский.

Отказываться мы не стали. Саша сбегал в коттедж за снейдью (огурцы, помидоры, баклажаны жареные, что-то еще, не помню), и мы провели остаток вечера за хорошей беседой, попивая хорошее вино.

Около полуночи Юрский сказал:

– А теперь, ребята, я хочу посмотреть небо с купола телескопа.

Мы с Сашей переглянулись.



– Можно посмотреть, – сказал Саша. – Вокруг купола идет смотровая площадка, и вид оттуда...

– Вы меня не поняли! – воскликнул Юрский. – Я хочу взобраться на вершину купола! Вот где настоящее небо, а

смотровой площадке – ерунда!

– Но это опасно! Это и днем опасно, а ночью...

Особенно после трех водки и – вина, но об этом мы не ска-
зали.

– Ерунда! Мы же втроем! – И Юрский принялся натяги-
вать куртку: ночи в обсерватории очень прохладные даже в
разгар лета.

Возражений он слушать не стал, и мы пошли к двухме-
тровому телескопу. Ночь, дорога идет через овражек, кругом
колючие кусты. Саша впереди, Юрский за ним, я замыкаю-
щий. В темноте натыкались на стволы деревьев, на кусты
ежевика. Наконец вышли на тропинку, и вот перед нами
башня, тоже темная – во время наблюдений свет, конечно,
выключали.

Вахтер нас-то знал, так что внутрь башни мы прошли без
приключений, про Юрского сказали: «Этот с нами». Подня-
лись из-под купола наружу, на круговой обзорный мостик.
Небо обалденное... Можно было хоть до утра любоваться, но
Юрский хотел наверх!

На верхушку купола вела металлическая лестница вроде
пожарной. Начиналась она с обзорной площадки, постепенно
изгибалась, и на верхушку нужно было забираться ползком,
а сорваться – в два счета, особенно в полной темноте.

– Может, не надо? – в последний раз начали мы с Сашей
уговаривать гостя.

– Надо! – твердо заявил Юрский, взялся за поручни и
бодро полез наверх.

Что нам оставалось делать? Саша полез следом, а я за ним.
Сашина нога его то и дело срывалась со ступеньки, и каблук
колотил меня по темени, приходилось притормаживать.
Сверху слышалось кряхтенье Юрского, Саша продолжал его
уговаривать не бузить и спускаться, но...

Вообще-то, подниматься надо было невысоко – диаметр
купола десять метров, высота, соответственно, всего пять, но

ощущение было такое, будто ползли вечность. Когда стоишь на лестнице, то видишь не небо, а кусок металла перед носом. А как же Юрский собирался увидеть небо с вершины? Неужели начнет там поворачиваться? Свалится, это точно!

Я все ждал, что сейчас раздастся вопль и удар упавшего тела... Так прошло довольно много времени, а потом я услышал довольное мурлыканье. Видимо, Юрскому удалось повернуться, и он кайфовал, мурлыча под нос какую-то мелодию.

А спускаться-то как он будет? Опять начнет поворачиваться – упадет!

– Саша! – говорю. – Ты там контролируешь?

Саша пробормотал что-то непонятное – по-моему, он еле удерживал сам себя, а ноги Юрского поддерживал собственной головой.

Наконец послышалось кряхтение, каблук Саши двинул меня по затылку, и я понял, что надо спускаться.

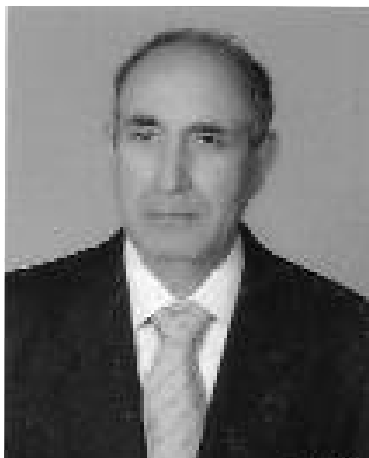
Через минуту мы стояли на обзорном мостике и поспешили внутрь купола, где горела неяркая лампочка, и можно было хотя бы видеть друг друга. У Юрского было совершенно счастливое выражение лица. Счастливое и умиротворенное. Такое лицо, наверно, бывает, у человека, достигшего цели в жизни.

Он увидел небо с вершины купола телескопа!

...Съемки фильма продолжались недели две, и мы с Сашей почти каждый вечер, если Юрский не был занят, приходили к нему в номер, разговаривали, иногда выходили погулять по поселку. На телескоп он больше не лазил, а содержание наших разговоров я не помню! Почему-то запомнился лишь тот первый вечер. Все-таки странная штука память...

* * *

Рассказ об обсерватории был бы далеко не полон, если бы я не сказал еще несколько слов о моем научном руководителе



Октае Гусейнове. К сожалению, он умер в 2009 году, и тогда я писал:

«Умер Октай Гусейнов. 70 лет – это разве возраст по нынешним временам?

23 года я проработал под руководством Октая в лаборатории физики звездных атмосфер – сначала в Шемахинской обсерватории, потом в Баку, в Институте физики. Познакомились мы, когда я учился на четвертом

курсе, а Октай только защитил кандидатскую в Москве у Якова Борисовича Зельдовича и сразу был назначен заместителем директора по науке в ШАО. Тогда он и пришел в университет, чтобы подобрать себе сотрудников. А я в то время уж и не мечтал стать астрономом – на факультете не было астрономического отделения, ехать поступать в Москву не было денег, в общем, опустил руки: физиком так физиком. И тут появился Октай. «Мне, – говорит, – сказали в деканате, что ты хочешь в астрофизику». Конечно!

Так мы и стали работать. С Октаем я делал дипломную работу – и там (это был 1967 год) написал (после разговоров с шефом, конечно), что нейтронные звезды могут быть источником периодического рентгеновского излучения (из-за вращения и магнитного поля). Рентгеновские пульсары были открыты в 1971 году.

Потом Октай взял меня в обсерваторию, под его руководством я делал кандидатскую. Все статьи мы писали в соавторстве, и моя фамилия стояла первой в перечне авторов, хотя роль Октая обычно была больше моей – но он, в отличие от многих других «шефов», требовал, чтобы фамилии ав-

торов шли по алфавиту.

Вместе мы сделали немало работ, на которые до сих пор можно найти ссылки в научной литературе. В 1974 мы писали, что в Галактике может быть около 10 тысяч слабых рентгеновских источников со светимостью в 10 тысяч раз слабее Скорпиона X-1. Сколько тогда было возражений! Не может, мол, такого быть, максимум спектра смещается в мягкую область, источник становится ультрафиолетовым... Но 20 лет спустя слабые источники были обнаружены именно в предсказанном количестве.

В 1974 мы «нарисовали» синтетическую кривую блеска рентгеновских новых – в то время еще ни один такой источник не наблюдали от состояния перед вспышкой до спокойной фазы, мы собрали отрывочные данные по 20 объектам и «сшили» – на эту работу тоже было много ссылок, в основном, в зарубежных журналах.

Потом были работы о распределении в Галактике слабых рентгеновских источников, о том, что происходит, когда в двойной системе взрывается сверхновая, и о том, как протекает взрыв сверхновой, если у звезды сильное магнитное поле, мы тоже писали. И об аккреции – если магнитное поле есть у звезды и (или) у падающего на звезду газа.

Потом мы построили новую шкалу расстояний до планетарных туманностей – по их радиоизлучению, чего прежде никто не делал.

И опять были работы по рентгеновским источникам...

В середине семидесятых Октай сказал: печататься надо за рубежом, тогда работа будет замечена. И с тех пор мы посылали статьи в *Astrophysics and Space Science*, а в 1978 году наш «Полный каталог рентгеновских источников» был опубликован в *Astrophysical Journal*, и это целая история. Этот, самый авторитетный астрофизический журнал – платный, а каталог был большой, почти 700 объектов, самый полный рентгеновский каталог в мире на то время. Платить нужно было около 12 тысяч баксов, мы таких денег никогда в глаза

не видели, у института их тоже не было.

В 1978 году в Протвино прошла первая (и последняя) встреча советских и американских специалистов по рентгеновским космическим исследованиям. Мы с Октаем поехали и показали каталог Джорджу Кларку, тогдашнему руководителю американской программы рентгеновских космических исследований. Он посмотрел и сказал: это надо срочно в *Astrophysical Journal*. «Ну... – сказали мы. – Хорошо бы, но...» Он все понял и сказал: «Заплатит Колумбийский университет». Так и произошло.

Лучшие воспоминания о моей работе в астрофизике – это воспоминания об Октае, наших спорах, наших статьях...

И еще Октай занимался исследованием эволюции остатков сверхновых и распределением пульсаров в Галактике (с Фикретом Касумовым и Исмаилом Юсифовым), белыми карликами (с Хейран Новрузовой), излучением остатков сверхновых (с Абдулом Асваровым).

Потом началась перестройка, и все посыпалось. Лабораторию почти перестали финансировать, иностранных журналов не было. Кончилось тем, что я уехал в Израиль, а Октай – в Турцию, где и стал, в конце концов, работать в университете в Анталии. Опубликовал там пару статей в соавторстве с турецкими коллегами – и все.

В последнем письме он писал:

«Пока продолжаю писать научные статьи, но много времени отдаю писанию никому не нужных книг по физике. Больше меня интересует хорошее объяснение основ и вообще самой теории в доступном виде. Здесь пишут очень плохо. Знание очень низкое и кругозор узкий. В плачевном виде находятся также школьные книги. Вот и занимаюсь также школьной физикой. Но хорошее образование и наука здесь, как и в большинстве мира, как пятое колесо. Развивать головной мозг не хотят. Поэтому мне невесело. Мне также не нравится жизнь в Баку, по той же причине. СССР, благо-

даря общей культуре, делал из нас людей. Мне всегда вспоминаются времена, когда был интерес к знаниям. Мне надо было жить среди людей, где ценят знания и науку. К сожалению, развития знаний и науки на востоке не хотят и западные страны...»

В начале марта Октай приезжал в Баку, был в своей бывшей лаборатории. Говорят, вовсе не жаловался на здоровье. И вот...»

Часть 4

**СЧАСТЛИВОЕ
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ**

Самое счастливое для любой науки время – период «первичного накопления капитала», когда ничего еще не известно, все впереди, почти каждая идея – новая потому просто, что других еще не существует.

В астрономии таких периодов было несколько за всю ее многовековую историю. Первый – в те древние времена, когда человек впервые увидел в россыпи звезд изображение известного ему животного. Были придуманы названия созвездиям, а среди звезд обнаружены такие, что не мерцают и движутся, – планеты.

После того, когда все небо было описано и занесено на карты, открытия в астрономии прекратились на многие годы. Второй период настал в 1609 году, когда Галилео Галилей направил в небо подзорную трубу и неожиданно обнаружил кратеры на Луне, фазы Венеры, кольцо Сатурна, четыре спутника Юпитера и доказал, что Млечный Путь – не туманное пятно, а гигантское скопление звезд. Оказалось, что мироздание устроено значительно сложнее, чем предполагалось раньше, и даже Солнце может оказаться не в центре Вселенной, а на дальней ее окраине.

И опять прошли века, прежде чем настал в астрономии третий, а почти сразу следом за ним – четвертый и пятый «золотые века». Число астрономических открытий, сделанных в XX веке, превосходит все, что сумели разглядеть на небе великие астрономы прошлого. Причина понятна – новые типы небесных тел удавалось обнаружить, когда глаз чело-

века становился более зорким (изобретение телескопа) или расширялось окно, сквозь которое исследователь вглядывался во Вселенную. В XX веке возникли сначала радиоастрономия, а затем ультрафиолетовая, инфракрасная, рентгеновская, гамма... Много веков астрономы смотрели на мир сквозь узкое спектральное окошко видимого света и наблюдали только то, что могли различить собственными глазами, даже если вооружали глаза линзами или зеркалами телескопов.

Когда в конце XIX века в астрономии стали применять спектроскопию и фотографию, оказалось возможно увидеть, как выглядят звезды и туманности в инфракрасном, невидимом глазу, свете, и понять, из каких химических элементов состоят небесные тела.

В 20-х годах XX века в небо направили радиоантенны, и оказалось, что в радиодиапазоне Вселенная представляется совсем иначе, чем в видимом. А ведь, кроме радио- и инфракрасных лучей, из глубины космоса могло приходиться к нам излучение и в других, более жестких диапазонах. Однако до пятидесятих годов прошлого века наблюдения небесных тел в ультрафиолетовом и более жестких областях спектра оставались невозможны. Дело в том, что атмосфера Земли поглощает ультрафиолетовое излучение, не говоря уж о рентгеновском и гамма. Первые наблюдения неба в ультрафиолетовых и рентгеновских лучах удалось провести лишь тогда, когда в ионосферу поднялись исследовательские ракеты, а на орбиты вокруг Земли вышли первые спутники с ультрафиолетовыми и рентгеновскими телескопами.

И вновь, в очередной раз, «открылась бездна, звезд полна» – совсем иные звезды, иные объекты, и потребовались новые идеи, чтобы понять и объяснить увиденное.

Практически все великие астрономические открытия XX века связаны с качественным изменением наблюдательной базы. Разбегание галактик удалось обнаружить, когда в строй

вошли огромные телескопы – на горах Вильсон и Паломар. Пульсары были открыты, когда радиоастрономы получили в свое распоряжение точную аппаратуру для измерения слабых короткопериодических сигналов. Рентгеновские источники обнаружили, когда в космос запустили спутники серии «Vela», на борту которых находилось оборудование для контроля за соблюдением Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере.

Вторая половина шестидесятых годов XX века была для астрофизиков временем открытий. В 1961 году открыли квазары, в 1967 – пульсары, в 1964 – странные источники, светившие в рентгеновском диапазоне и почему-то невидимые в видимых лучах. В те годы чуть ли не каждая статья имела принципиальное значение – авторы предлагали новые объяснения только что обнаруженным явлениям. А объяснив (как им казалось), предсказывали новые явления, еще не обнаруженные.

Чтобы предложить что-то свое, неожиданное и правильное, не обязательно было углубляться в математические дебри, совсем наоборот: не доставало простых физических идей, которые объясняли бы только что сделанное открытие. Это было время, когда интуиция ценилась в астрофизике больше, чем знание теории и умение точно провести расчет.

А какие баталии разыгрывались на семинарах и конференциях! Кибернетику еще не признавали, об идеях Лысенко еще не совсем забыли, генетика продолжала ходить в «продажных девках империализма», а астрофизики спорили о том, как произошли звезды – из межзвездного ли газа, или наоборот, из невидимой сверхплотной материи? Сжатие ли газа привело к образованию звезды или, напротив, мощнейший взрыв?

И ведь, казалось, в космосе можно было найти подтверждение обеим гипотезам. Были обнаружены, например, пары галактик, и на снимках ясно было видно, что одна галактика

проникла в другую, спирали смешались, и что же это такое на самом деле: то ли две галактики столкнулись и пролетают друг сквозь друга, то ли, наоборот, мы видим галактики, разлетающиеся из единого центра?

«Классические» астрофизики придерживались мнения о том, что звезды, конечно же, образуются, когда сжимается под действием собственного тяготения межзвездный газ. Газовый шар, сжавшись, нагревается, в недрах начинаются ядерные реакции синтеза гелия из водорода, и звезда светит, излучая в пространство вырабатываемую при образовании гелия энергию. Миллионы или даже миллиарды лет спустя «горючее» иссякает, и звезда остывает.

Что потом? Сжатие. Возникает белый карлик. А может, даже таинственная нейтронная звезда, о которой писали теоретики еще в тридцатых годах, но до конца шестидесятых никто так и не смог обнаружить... Так полагали многие астрофизики, в числе которых были Я.Б. Зельдович, И.С. Шкловский, В.Л. Гинзбург.

Но была еще «бюраканская» школа, возглавляемая В.А. Амбарцумяном. «Бюраканцы» утверждали: нейтронные звезды – не конечная стадия эволюции обычных звезд, а совсем наоборот – начальная. Из сверхплотного вещества (Д-тела) в процессе взрыва Сверхновой образуется обычная звезда, а потом, в конце жизненного пути вещество ее рассеивается в пространстве – так возникают облака межзвездного газа.

Понятно, что примирить две эти точки зрения было невозможно: либо нейтронная звезда является конечным продуктом звездной жизнедеятельности, либо начальным. Третьего тут быть не могло.

За школами Я.Б. Зельдовича и И.С. Шкловского стояла вся мировая астрофизика. За школой В.А. Амбарцумяна – только авторитет ее руководителя. Но авторитет Виктора Амазасповича в советской науке был чрезвычайно велик, а

наблюдения, проводившиеся на Бюраканской обсерватории, были точны, надежны и неоспоримы.

Такие противоречия и движут науку – в научных теориях, как и в классическом дарвинизме, выживают наиболее приспособленные, то есть такие, которые правильно описывают наблюдаемую картину и предсказывают новые, еще не обнаруженные явления.

* * *

Именно в это время я и окончил физический факультет Азербайджанского Государственного университета. 1967 год. Пульсары только что открыли, но еще не появилась первая статья в Nature, и никто не знал, что нейтронные звезды, предсказанные тридцать лет назад, на самом деле существуют в природе.

Тем не менее, именно возможностям обнаружения нейтронных звезд была посвящена моя дипломная работа. В одной из глав как раз и говорилось о том, что излучение нейтронной звезды должно быть не постоянным, как это обычно принималось в теоретических исследованиях, а переменным, причем период переменности должен быть равен периоду вращения звезды вокруг оси.

С чистой совестью я мог бы считать, что предсказал пульсары в своей дипломной работе, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, хотя защита состоялась весной 1967 года (до того, как в Nature была опубликована заметка об открытии первого пульсара), статья, в которой излагались основные идеи дипломной работы, была опубликована в «Докладах АН Азерб.ССР» в начале 1968 года, когда о странном пульсирующем радиоисточнике писали уже во всех научных журналах, а идея о том, что излучение приходит от вращающейся нейтронной звезды, была принята научным сообществом.

Во-вторых, в нашей (с моим научным руководителем О.Х. Гусейновым) работе речь хотя и шла именно о вращающихся нейтронных звездах, но писали мы о том, что излучать звезда должна в рентгеновском, а вовсе не радиодиапазоне. Понятия «рентгеновский пульсар» в то время еще не существовало, но писали мы именно об этом явлении, открытом три года спустя во время наблюдений с борта американского спутника UHURU.

Рентгеновские пульсары – те же нейтронные звезды, но на совсем другой эволюционной стадии – мы с О.Х.Гусейновым действительно предсказали.

Весной 1972 года я закончил работу над кандидатской диссертацией, и возник вопрос: где защищать? В Шемахинской астрофизической обсерватории, где я работал, Ученый Совет не имел полномочий принимать к защите диссертации по релятивистской астрофизике (так называется область астрофизической науки, изучающая компактные небесные тела, природа которых определяется законами общей теории относительности). Всего в двух городах Советского Союза можно было защитить диссертацию на тему «Некоторые возможности наблюдения нейтронных звезд». Разумеется, в Москве – или в Государственном Астрономическом институте им. П.К. Штернберга (отдел чл.-корр. АН СССР И.С. Шкловского), или в Институте Космических Исследований (отдел академика Я.Б. Зельдовича). А еще – Ереван, где в Госуниверситете работала сильная группа теоретиков, возглавляемая академиком Г.А. Саакяном.

По многим вопросам мой шеф обращался к Я.Б. Зельдовичу, у которого проходил аспирантуру. Естественно, спросил и на этот раз: где защищать? «В ИКИ длинная очередь, – сказал Яков Борисович, – можно и два года ждать. В ГАИШе... Г-м... (Смысл этого «гм» заключался в том, что школы Зельдовича и Шкловского были не в лучших отношениях друг с другом – такова уж судьба многих научных

школ.) Давайте в Ереване. К тому же, это и к Баку гораздо ближе, легче будет в командировки ездить. А оппонирующим учреждением возьмем ФИАН».

Так и сделали.

Работу отправили в Ереванский государственный университет, где ее прочитали и, естественно, пригласили автора приехать и выступить на семинаре. Кафедрой теоретической физики, где предстояла защита, заведовал в то время академик АН Арм.ССР Гурген Серобович Саакян – личность в своем роде легендарная, именно в соав-



С Я.Б. Зельдовичем
на пляже в Бузовнах, 1974 год.

торстве с ним академик В.А.Амбарцумян написал практически все свои исследования природы сверхплотных звезд, создавшие в сороковых-пятидесятых годах славу армянской школе релятивистской астрофизики. Тандем Амбарцумян-Саакян ввел в рассмотрение понятие о гиперонных звездах, не обнаруженных, кстати, по сей день, но, тем не менее, теоретически описанных и, в принципе, возможных в природе.

В апреле 1972 года я впервые в жизни приехал в Ереван в командировку. Это сейчас из Баку в Ереван в командировки не ездят. Научные связи между двумя закавказскими республиками прервались в конце восьмидесятых годов внезапно и надолго (надеюсь, не навсегда). Тридцать лет назад дружба народов была понятием вовсе не абстрактным – расскажи кто-нибудь на заседании кафедры в ЕрГУ или на Ученом совете ШАО о том, что всего через 18 лет ученые Армении и Азербайджана будут считать друг друга не научными, а военными

противниками, для которых не жалко пули – такому провидцу плюнули бы в лицо и назвали бездарным шутником...

Единственное, о чем меня предупредили перед отъездом знакомые, уже бывавшие в Ереване: нужно выучить хотя бы несколько базовых слов по-армянски, поскольку русский язык ереванцы хотя и знают, но обычно делают вид, что не понимают. Самым «базовым» армянским словом, которое мне, собственно, и учить было не нужно, являлась фамилия В.А.Амбарцумяна.

– Сойдешь с поезда, – говорили мне, – и скажешь первому встречному: нужно, мол, к Амбарцумяну. Тебе покажут.

Вообще говоря, мне нужно было не к Виктору Амазасповичу, который был в то время Президентом АН Арм.ССР и директором Бюраканской обсерватории, а к Гургену Серобовичу, но пароль «Саакян», похоже, был гораздо менее действенным.

Выйдя в Ереване на привокзальную площадь, я сначала действительно растерялся – не было ни одной надписи на русском языке, и отличить магазин готовой одежды от справочного бюро я мог только по вторичным внешним признакам, но никак не по надписи над дверью. Я подошел к старику, торговавшему в киоске у вокзала газетами, и сначала – для проверки – спросил по-русски, не скажет ли уважаемый, как проехать к университету. Продавец посмотрел на меня непонимающим взглядом и удрученно покачал головой – интернациональное слово «университет», похоже, ничего ему не говорило.

Тогда я произнес пароль: «Амбарцумян».

– О! – воскликнул старик и просиял. – Амбарцумян! Ты приехал к Виктору Амазасповичу!

От восторга он, видимо, не понял, что странным образом заговорил по-русски.

Через минуту я ехал в трамвае в нужном направлении и точно знал, на какой остановке выходить, за какой угол после

этого повернуть и в какое здание войти. Разумеется, послан я был не в университет, а в Президиум Академии Наук, где и должен был, по мысли старичка, денно и ночью находиться величайший ученый всех времен и народов. Это уже не имело значения – я очень надеялся, что в Академии любой вахтер сумеет показать дорогу к храму науки.

Так и оказалось, но до кабинета Г.С. Саакяна я добрался уже под вечер, не имея, кстати, представления о том, где проведу ночь. К счастью, физики – в том числе теоретики – народ увлекающийся и не спешащий домой с работы. В тот день проходило заседание кафедры – практически все, включая Г.С. Саакяна оказались на месте, знакомство состоялось (разумеется, никто не делал вид, что не понимает по-русски), на следующий день был назначен семинар с моим выступлением, а затем Гурген Серобович спросил:

– В гостиницу вы уже устроились?

– Нет, – признался я.

– Позвоню Гургену Арамовичу, – сказал Саакян. – Во-первых, я бы хотел, чтобы он был вашим основным оппонентом, а во-вторых, у него в институте есть гостиница, точнее – целый этаж для командированных.

Академик АН Арм.ССР Гурген Арамович Гурзадян был известен среди астрофизиков не меньше Амбарцумяна и Саакяна. Он был в то время директором Института Космических Исследований АН Арм.ССР, где проектировали аппаратуру для искусственных спутников. Гурген Арамович много лет занимался физикой планетарных туманностей и сделал в этой области, пожалуй, больше, чем любой другой ученый – не только в СССР, но и на всей планете. Книгу Г.А. Гурзадяна «Планетарные туманности» я, разумеется, читал, отдавал должное уникальности изложенного в ней наблюдательного материала, но считал ошибочной физическую интерпретацию.

Естественно, Г.А. Гурзадян не мог не быть сторонником идей своего шефа, и потому в книге утверждалось – вопреки

мнению большинства, – что планетарная туманность является не поздней стадией эволюции обычной звезды, а напротив, самой начальной. Во всем мире считали, что, когда звезда, масса которой не превышает 1,4 солнечной, заканчивает жизненный путь, она довольно быстро сжимается до размеров Земли, при этом температура повышается до сотен тысяч градусов, а внешняя оболочка (примерно 0,1 массы Солнца) сбрасывается и рассеивается в межзвездном пространстве. Взрыва при этом не происходит, и потому скорости расширения планетарных туманностей невелики – несколько десятков км/сек. Планетарные туманности очень красиво выглядят на цветных астрофотографиях – яркие кольца с точкой-звездой в центре.

Согласно представлениям школы Амбарцумяна, все происходило с точностью до наоборот: некие сверхплотные Д-тела (гиперонные звезды, к примеру, о которых писали Амбарцумян с Саакяном) взрываются, и, если они массивны, то при этом рождаются массивные звезды и происходит вспышка Сверхновой, а если масса Д-тела невелика (меньше тех самых 1,4 масс Солнца), то Д-тело переходит в состояние обычной звезды через стадию планетарной туманности.

В тот вечер мне было решительно все равно, в каком направлении идет эволюция звезды. Если бы для поселения в гостиницу нужно было отречься от своих научных представлений в пользу амбарцумяновских, я бы непременно это сделал (правда, оставил бы за собой право, выселяясь из гостиницы, воскликнуть: «А все-таки она вертится!»).

Но научного отречения от меня не потребовали. «Пусть приезжает», – сказал по телефону Г.А. Гурзадян, и я отправился за город, где располагалось новое пятиэтажное здание ИКИ. Рабочий день давно кончился, меня встретил предупрежденный начальником вахтер, который и провел меня на пятый этаж.

В тот свой приезд с Гургеном Арамовичем мне встретиться не довелось – утром он улетел в Москву. Наверняка это было к лучшему – как показали дальнейшие события.

На следующий день на заседании кафедры доклад мой был благосклонно выслушан, диссертацию приняли к защите, а оппонентами назначили Г.А. Гурзадяна и В.А. Папояна, одного из сотрудников кафедры. В Баку я уехал в тот же вечер и принялся ждать, когда же будет назначен день защиты.

В начале лета пришло короткое письмо от Г.С. Саакяна: все, мол, в порядке, Витя (В.А.Папоян – П.А.) свой отзыв уже пишет, защита состоится, скорее всего, в ноябре, раньше просто не успеть. Правда, Гурзадян свой отзыв еще не написал, но он человек занятой, чаще в разъездах, чем дома...

От Физического института им. П.Н. Лебедева отзыв написал доктор наук Леонид Моисеевич Озерной, один из самых в то время известных специалистов по релятивистской астрофизике не только в Союзе, но и во всем мире. К слову, известность сослужила ему не очень хорошую службу. В конце семидесятых, когда началась вторая волна еврейской эмиграции, в США переехали на постоянное жительство родственники Леонида Моисеевича – в том числе родители. Вряд ли сам Л.М. Озерной решился бы на эмиграцию, но все же уехал, надеясь, понятно, что при его известности у него не будет проблем с трудоустройством. Несколько лет о нем не было никаких сведений – не то чтобы не было вообще, наверняка московские друзья и коллеги знали о судьбе Леонида Моисеевича гораздо больше, чем мы, сидевшие на горе в Закавказье. Однако, в конце концов и до нашей лаборатории дошли сведения о том, что в престижные американские научные учреждения Л.М. Озерной не попал (причину этого я не знаю до сих пор – квалификация у него, безусловно, была высочайшей), работал лаборантом в школьном кабинете физики, потом пошел на повышение... Но в астрономической

литературе фамилия Л.М. Озерного мне больше не попадалась ни разу.

Отзыв, подписанный Л.М. Озерным, был очень хорошим, а следом поступил и отзыв В.А. Папояна. К сентябрю мы с моим научным руководителем О.Х. Гусейновым отрепетировали мое выступление, выпустили автореферат, в общем, все шло, казалось бы, как по маслу, и тут пришло, наконец, долгожданное письмо от Г.А. Гурзадяна: не отзыв, однако, а приглашение приехать в Ереван для обсуждения...

Григор Арамович принял меня в своем кабинете – чай, разговор о погоде, об общих знакомых-астрофизиках, я постепенно успокоился и решил, что академик просто хотел поглядеть на своего будущего подзащитного. Наконец, через полчаса неспешной беседы я вдруг услышал:

– А вот что делать с вашей диссертацией, я решительно не знаю. В ней все неправильно!

– Что значит – все? – не понял я.

– Все! – отрезал Г.А. Гурзадян. – Начнем с Введения. Что вы пишете? «Нейтронные звезды – конечная стадия звездной эволюции». Вы прекрасно знаете, что это не так. Согласно теории Виктора Амазасповича, звезды образуются из Д-тел. Сначала Д-тело, взрываясь, переходит в стадию нейтронной звезды, а потом, после расширения, нейтронная звезда становится на главную последовательность и, в зависимости от массы, оказывается на той или иной ветви...

– Дальше, – продолжал Г.А. Гурзадян, перелистывая страницы. – Вот тут: «В результате аккреции (захвата звездой вещества из межзвездного пространства – П.А.) масса белого карлика достигает чандрасекаровского предела, и может произойти взрыв Сверхновой с образованием нейтронной звезды и сбросом оболочки в межзвездное пространство». Вы прекрасно знаете, что это не так, потому что, согласно теории Виктора Амазасповича...

– А вот здесь, – снова были перевернуты несколько страниц, – вообще вопиющая вещь. Смотрите, написано: «Перенос вещества от обычной компоненты к нейтронной звезде в двойной системе приводит к возрастанию массы нейтронной звезды, в результате чего происходит релятивистское сжатие и образуется коллапсар (в то время название «черная дыра» еще не было общепринятым; во всяком случае, в советской научной литературе чаще использовалось слово «коллапсар», введенное Я.Б. Зельдовичем – П.А.)». О чем вы пишете? Коллапсар – из нейтронной звезды?! Все происходит наоборот!

Я понял, что дискуссии не будет. Я еще мог бы доказывать, что в формуле величины аккреции в магнитном поле (первая глава) не было сделано ошибок, что расчеты взрыва Сверхновой во второй главе используют правильные приближения, а в третьей главе все расчеты рентгеновского излучения нейтронных звезд в двойных системах не только правильны, но уже и подкреплены наблюдениями с искусственного спутника. Я мог показать, как получена каждая формула, как сделан каждый расчет... Но какой во всем этом был смысл, если отвергалась главная идея, на которой строилась вся диссертация? Какой был смысл спорить о покраске стен, если рушилось все здание?

– Мы исходили из того, что... – начал было я.

– Я прекрасно знаю, из чего вы исходили, – прервал меня Г.А. Гурзаян. – Вы исходили из мнения большинства. Но вы должны понимать, что не большинство решает в науке, что правильно, а что нет. А если вы этого не понимаете, то зачем вообще вы занимаетесь наукой?

И ведь Григор Арамович был, в принципе, абсолютно прав! Действительно, разве научная истина определяется большинством голосов? Разве Коперник не был в свое время в абсолютном меньшинстве? А Мендель? Или Циолковский? Из чего, кстати, вовсе не следует, что, если с новой теорией

большинство ученых не согласно, то именно она и является истинной. Да, всякая селедка – рыба, но не всякая рыба – селедка. Попробуйте, однако, убедить в этом ту самую селедку, которая щуку, карася и прочую стерлядь за рыб не считает!

Так мы и провели часа полтора: Григор Арамович выдерживал из текста диссертации цитаты (мог бы и весь текст зачитать, ведь там решительно все противоречило теории Виктора Амазасповича), а я слушал, кивал головой и даже не пытался вставить свои возражения.

– Ну, и что будем делать? – неожиданно прекратил цитирование Григор Арамович.

Я пожал плечами. Решение могло быть одно: забрать диссертацию и попытаться представить ее к защите в другом месте. Я стал думать, где все-таки лучше: в ИКИ, где огромная очередь, или в ГАИШе, где очередь короче, но оппоненты злее? Злее-то они злее, но все-таки – единомышленники, в отличие от...

– Давайте так, – неожиданно перешел к резюмирующей части беседы Г.А.Гурзаян. – Думаю, вам, молодой человек, нет смысла заниматься наукой. Вы не готовы воспринимать новое, а это неустранимый недостаток. Да, я вижу, у вас есть квалификация, формулы выведены верно, расчеты правильные – если, конечно, принять абсолютно неверную точку зрения на звездную эволюцию. Давайте договоримся: я напишу положительный отзыв, отмечу величину проделанной работы, а вы мне обещаете, что после защиты оставите научную деятельность. Идите работать в школу!

Знал бы Григор Арамович, на какую мозоль наступил... Преподавательских способностей у меня не было никогда. На пятом курсе университета наша группа проходила практику в одной из школ Баку. Когда практика закончилась, Арнольд Минаевич Шлимак, преподававший физику много лет, сказал мне: «Практику я тебе засчитаю, но об одном прошу: никогда не иди работать в школу. Занимайся наукой».

А теперь мне говорят: наука не для тебя, иди в школу...

– Ну так что? – спросил Г.А. Гурзадян. – Согласны? Если да, то можно назначать защиту на конец ноября.

– Согласен, – пробормотал я.

Наверно, Григор Арамович думал, что перед ним – человек слова, и если пообещал, то, конечно, не забудет выполнить обещанное.

Когда, вернувшись домой, я рассказал в лаборатории о состоявшемся разговоре, шеф разозлился:

– Не Гурзадян у решать, кому заниматься наукой, а кому нет. Яков Борисович тебя ценит, Иосиф Самойлович хотел взять тебя на практику, а Дмитрий Дмитриевич предлагал тебе аспирантуру! Посмотрим еще, что Гурзадян напишет в отзыве. Правда, нужно предупредить Гургена Серобовича. Менять оппонента он не будет, но пусть хоть знает...

Защиту назначили на 22 ноября. С Г.А. Гурзадяном мы больше не виделись – даже в день защиты. Он приехал в университет к самому началу заседания Ученого Совета и уехал сразу после его окончания. По-моему, даже не дождался подсчета голосов. Дел у него действительно было много, а с диссертантом он вроде бы уже обо всем договорился... Кстати, окончательного текста своего отзыва он не представил вплоть до дня защиты – мол, некогда, все нормально, не беспокойтесь...

Проходила защита в большой аудитории мест на триста, и потому зал был оборудован микрофоном и динамиками, иначе даже в первых рядах не было бы слышно оратора. Собрался, по-моему, весь физфак, но вряд ли из-за меня – передо мной защищался аспирант Г.С.Саакяна, его, скорее всего, и пришли слушать студенты и преподаватели. Я и сейчас понятия не имею, какой была тема той диссертации, о чем в ней шла речь – по той простой причине, что диссертация была написана по-армянски, на армянском языке проходили все выступления, а из формул, которые писал диссертант, можно

было понять только, что работал он в области ядерной физики. Судя по аплодисментам, раздававшимся после каждого выступления, защита прошла без единой заминки.

Настала моя очередь. Больше всего я боялся, что и теперь все будут говорить по-армянски, и я даже не пойму, когда мне нужно будет подняться на кафедру.

Однако, когда перешли ко второму вопросу, секретарь Ученого Совета заговорил на прекрасном русском языке, я понял, что хотя бы с этим проблем не будет, и более или менее успокоился. То, что произошло потом, заставило меня задуматься над проблемой судьбы и рока. Впрочем, может, это была человеческая хитрость, а рок – ни при чем? Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос.

Произошло же следующее. После моего доклада слово предоставили, естественно, главному оппоненту – члену-корреспонденту АН Арм.ССР Григору Арамовичу Гурзадян.

– Диссертант, – начал он, и динамики разнесли слова до последних рядов, – проделал большую работу, и это безусловный плюс...

– Однако, – продолжал Г.А. Гурзадян, и в этот момент динамики отключились. Оратор продолжал говорить в микрофон, но даже члены Ученого Совета, сидевшие в первом ряду, вряд ли слышали хоть одно слово. А говорил уважаемый оппонент ровно то же самое, что несколько месяцев назад в своем кабинете. Все неправильно, идея диссертации антинаучна, нет ни одной верной мысли, ни одного скольконибудь вразумительного предположения, гипотезы не имеют отношения к реальности и полностью противоречат известной теории Виктора Амазасповича...

«Все, – думал я. – Полный провал».

В зале начали шуметь. Все хотели расслышать, что говорит Гурзадян, и переспрашивали друг друга.

Минут десять оппонент перечислял все глупости, собранные в диссертации, а потом перешел к заключительной

фразе:

– Несмотря на эти многочисленные и неустранимые недостатки, – сказал он, в этот момент динамики опять заработали, и последние слова прозвучали громом в мгновенно застывшей аудитории, – диссертант, безусловно, достоин присуждения ему степени кандидата физико-математических наук.

Тогда встал и захлопал Гурген Серобович Саакян. Ему было трудно это сделать – Саакян страдал паркинсонизмом, – и потому все, кто был в зале, принялись аплодировать, подерживая академика.

Техника теперь работала исправно, выступление В.А.Папояна, говорившего, какая это отличная работа, слышали все, отзыв ФИАНа, зачитанный секретарем, тоже был положительным, члены Ученого Совета благосклонно кивали седыми головами.

Проголосовали: со счетом 18:1 победил диссертант. Понятно было, кто опустил в урну «черный шар» – ведь Г.А. Гурзадян тоже был членом Совета...

На следующий день я спросил у В.Г. Седракяна, занимавшегося технической стороной защиты, что произошло с участниками. Случайное совпадение или...

– Наверно, совпадение, – уклонился Седракян от прямого ответа.

* * *

Сейчас это уже невозможно. Чтобы аспирант-еврей, прибывший из Баку со своим научным руководителем-азербайджанцем, защищал диссертацию в Ереванском университете? Даже если бы в работе все «по правилам» – в соответствии с теорией Виктора Амазасповича...

Об этой теории, кстати, давно забыли. Звезды, конечно же, образуются из межзвездного газа, а не из Д-тел, которых не существует в природе.

Все-таки иногда и большинство в науке бывает право...

Часть 5

ДОЖДЛИВЫЙ ВЕЧЕР В БАКУ

Не помню, каким взглядом посмотрел на меня известный писатель-фантаст Генрих Саулович Альтов, когда мой школьный приятель Боря Островский по прозвищу Борчака привел меня в старый одноэтажный дом и объявил, что я – тот самый младенец, который опубликовал в «Технике-молодежи» рассказ, не делающий чести советской фантастике.

Впрочем, наверняка Борчака таких слов не произносил, хотя и любил изъясняться витиевато и порой не вполне понятно. За неделю до описываемых событий (именно такими словами, насколько я могу судить, должен мемуарист отображать то, чего не мог помнить) Борчака подошел ко мне на перемене и сказал с видом заговорщика (это я могу утверждать точно, потому что вид заговорщика у Борьки был всегда – даже тогда, когда он выходил к доске, не зная ни слова из заданного на дом доказательство теоремы):

– Читал «Литературку»? Альтов тебя так отделал...

Я не читал «Литературку». Честно сказать, в девятом классе я и не подозревал, что существует такая газета, и что на ее страницах в числе прочих материалов публикуются полемические статьи о советской фантастике.

В одном из ноябрьских номеров известный уже в то время писатель-фантаст Генрих Альтов опубликовал разгромную критическую статью где, в частности, говорилось о том, как глупо поступают некоторые издания, публикуя слабые, а порой вообще беспомощные опусы. Вот, например, «Техника-молодежи» напечатала рассказ пятнадцатилетнего

школьника – слабый рассказ, просто плохой, и для чего уважаемый журнал погнался за дешевой сенсацией?

Боря принес газету, и я прочитал статью. Возможно, я прочитал ее дважды. Возможно, не дочитал до конца. Сейчас я этого не помню. В статье упоминалось мое имя, и это было ужасно.

Напомню (себе в том числе), что на дворе был 1959 год, оттепель, пик хрущевской эпохи. Два года прошло после выхода в свет «Туманности Андромеды», впервые опубликованной в том же журнале «Техника-молодежи». Помню, как я ждал каждого номера и первым делом перелистывал страницы в поисках знакомого рисунка-заставки: звездолет «Гантра» на поверхности черной планеты в системе железной звезды.

«Туманность Андромеды», как принято говорить, «открыла новую эпоху в советской фантастике». Тогда же и западная появилась – в той же «Технике-молодежи» (кажется, даже годом раньше «Туманности Андромеды») опубликована была повесть Эдмона Гамильтона «Сокровища Громовой Луны», и как же после чахлах книг Немцова, Охотникова или Сапарина удивительно было читать оключениях на далеких планетах и в системах других, совершенно непонятных звезд. Наверно, примерно те же ощущения испытывали американские читатели, когда в 1929 году вышел из печати «Звездный жаворонок» всеми ныне забытого автора Уилбура Смита – первый в истории научной фантастики роман о полете к звездам. Не к Луне (к Луне уже и герои Жюль Верна летали), не к Марсу или Венере (там побывали герои Эдгара Берроуза) и даже не к Юпитеру или Нептуну (о Плутоне и вовсе еще никто не знал) – но к звездам!..

Как из клетки – на свободу.

А потом «Техника-молодежи» и «Знание-сила» начали публиковать рассказы молодых тогда и никому еще неизвестных авторов. И сколько же их было – новых имен, новых

рассказов, новых идей! Валентина Журавлева, Дмитрий Биленкин, Анатолий Днепров, Георгий Гуревич, Владимир Савченко. И, конечно, Генрих Альтов.

До сих пор помню впечатление, которое произвел на меня рассказ Журавлевой «Звездный камень». По нынешним меркам – незамысловатый рассказ, и идея его, как я сейчас понимаю, была уже отработана к тому времени в западной фантастике. Но для советской – это было открытие, луч света в темном царстве, осветивший по-новому всю огромную страну научно-фантастической литературы.

Чуть позже я прочитал «Подводное озеро» Г.Альтова и понял, что есть фантастика еще более высокого уровня. Захотелось писать самому. Нормальное, видимо, желание для романтически настроенного ученика советской школы, ощущающего какие-то подспудные силы, но совершенно не представляющего, что с ними делать. Воображение ищет выход, фантазия хочет игры, и пример – перед глазами.

Рассказы мои были, естественно, настолько подражательны, что вполне можно говорить о плагиате. Не текстовом, к счастью – тексты я сочинял сам и записывал в школьную тетрадку. Но идеи были однозначно сдернуты с популярных в то время образцов. И хорошо, что у Альтова я не украл ни одной идеи – могу себе представить, что он написал бы обо мне в этом случае.

«Икария Альфа» была слепком с очень мне понравившегося рассказа Георгия Гуревича «Инфра Дракона». Отличие по сути было одно – у Гуревича наши астронавты летели к инфракрасной звезде, расположенной неподалеку от Солнечной системы, а в моем рассказе речь шла о том, что жители холодной звезды-инфры прилетают к нам, в Солнечную систему. Весь набор штампов тогдашней фантастики в рассказе, разумеется, присутствовал, включая самый распространенный – убеждение в том, что передовые ученые Запада буквально мечтают переехать в Страну Советов,

чтобы здесь двигать вперед передовую науку и служить прогрессу на благо человечества...

Ясно, что не качеством текста привлек мой рассказ редактора фантастики в журнале «Техника-молодежи» Владимира Келера. И не идеей – уж Келер-то наверняка прекрасно помнил рассказ Гуревича, хотя опубликован он был в конкурирующем издании – журнале «Знание-сила». Полагаю, – как, кстати, полагал и Альтов, – что единственным поводом для публикации стало то обстоятельство, что рассказ был написан учеником девятого класса. Что, по мнению Альтова, не давало автору никаких преимуществ. Литература – это литература, а не детский сад. Взятся писать – пиши без скидок на младенческий возраст. А взялся публиковать – тем более не делай на возраст автора никаких скидок. Скидки никогда не ведут к прогрессу в чем бы то ни было. Литература не исключение. Фантастика – тем более.

Так – или примерно так – писал в своей статье известный и любимый мной писатель-фантаст Генрих Альтов.

То ли в феврале, то ли в марте 1960 года – несколько месяцев спустя после пресловутой публикации в «Литературке» – Борчака подвалил ко мне на перемене и спросил:

– Хочешь я тебя с Альтовым познакомлю? Ну, с тем, кто про тебя статью написал...

Сам Борька познакомился с известным фантастом, как я понимаю, всего неделей раньше, и обстоятельства этого знакомства для меня навсегда остались неизвестными. Скорее всего, Борька узнал у кого-то адрес, по которому жил Альтов, явился к нему домой и сказал, что надо бы обсудить кое-какие вопросы. У Бори никогда не возникало проблем с тем, чтобы с кем-то познакомиться, что-то у кого-то спросить – общался он легко, в том числе и на темы, в которых ничего не смыслил.

– С Альтовым? – испуганно переспросил я. – А он согласен?

Можно было подумать, что Борька его об этом спрашивал!

То ли в тот же вечер, а может, несколько дней спустя мы отправились на Апшеронскую улицу. Это был старый бакинский район неподалеку от колхозного рынка, где дома были по преимуществу одноэтажными, белеными, а улицы – горбатыми, с побитыми тротуарами и давно не чиненным асфальтом. Мы поднялись по улице Джабарлы – это был еще вполне цивилизованный район, где располагался райисполком, – и свернули на Апшеронскую, отчего мне стало не по себе: я не мог допустить даже в мыслях, что автор замечательных рассказов о морских и межзвездных капитанах живет в неказистом, будто даже кривом одноэтажном домишке, куда мы попали через типичный бакинский дворик, где жили еще несколько семей, на веревках сушилось белье, а соседские дети орали, будто пресловутые ракопауки с планеты Пандора, в то время еще не описанные братьями Стругацкими.

– Вот, – сказал Боря, когда нас впустили в светлую прихожую, тоже типично бакинскую – это была застекленная веранда, где хозяева хранили все, что не помещалось в комнатах и где зимой было холодно, как в Арктике, а летом жарко, как на экваторе. – Вот, это про него вы писали в «Литературке».

Известный писатель Генрих Альтов оказался человеком невысокого роста, чуть сутулым. Не думаю, что он был доволен поступком Бори – привел, понимаешь, графомана, и что с ним теперь делать?

Мы прошли в комнату, где было всего одно выходившее на улицу окно с широким подоконником. Старый диван, несколько стульев, письменный стол с пишущей машинкой (принадлежность истинного писателя, о пишущей машинке я в то время даже и не мечтал!), полки с книгами, стоявшими не по порядку, а, как мне показалось, совершенно хаотиче-



ски: на диване и на столе, и на любой плоской поверхности – кое-где на полу тоже – лежали книги, книги, книги... Собственно, моя память только это впечатление и сохранила от первой встречи: книги, много книг.

Вошла молодая (это я теперь понимаю, что молодая, а тогда она показалась мне чуть ли не пожилой) светловолосая женщина, смотревшая на нас с Борей гораздо приветливее известного писателя, и Генрих Саулович представил меня своей жене:

– Валентина Николаевна. Журавлева.

И только тогда я ее узнал – видел же, много раз видел на фотографиях в «Технике-молодежи», где публиковались ее рассказы! Не помню, что я ответил – наверняка стоял столбом и переживал второй шок. Как же – шел знакомиться с писателем-фантастом, а познакомился сразу с двумя, да еще с самыми лучшими, каких я только мог себе представить!

Не думаю, что я в тот вечер произнес хотя бы одно слово. Я вообще был скованным, молчаливым мальчиком с множе-

ством комплексов. Полная противоположность Боре, у которого комплекс был только один – он вообще не признавал, что у кого-то могут быть комплексы. Но, должно быть, в моем молчании Альтов усмотрел нечто большее, чем тупое незнание и неспособность сказать умное слово. Во всяком случае, после того вечера мы с Борчакой стали приходить к Альтову регулярно – раз в неделю, иногда чуть реже, иногда чаще. Вскоре я уже принимал участие в беседах – разумеется, в основном, о фантастике, но и многом другом тоже: о тайнах мироздания, о воображении, о летающих тарелках и парапсихологии...

Я набрался смелости и принес Альтову один из своих неопубликованных рассказов. В то время мои отношения с редакцией «Техники-молодежи» испортились окончательно: после публикации «Икарии Альфы» я возомнил себя опытным автором и посылал в журнал по рассказу в месяц – разумеется, такие же подражательные и невразумительные, как мое первое «произведение». Нет, даже хуже, если такое вообще возможно. Не получая ответа, я отправлял в редакцию письма с вопросами типа: «Как вам понравилось то, что я прислал, и почему вы не сообщаете, когда рассказ будет напечатан?» Наконец от Келера пришло письмо, которое давно затерялось, но помню я его практически текстуально.

«Если Вы будете заваливать редакцию своими письмами, – писал Келер, – это ничего не изменит в нашем решении публиковать Ваши рассказы или нет. И не нужно в каждом письме указывать, что Вы учитесь в девятом классе и что Вам пятнадцать лет. Об этом знаем не только мы, но с нашей помощью и десять миллионов наших читателей. Один раз Вам была сделана скидка на возраст. Однако писать Вы стали хуже и хуже. Или Вы начнете работать над собой и тогда действительно сможете войти в число наших авторов, или...»

Что там было «или», я не помню, но это и так понятно. А

тут еще и статья в «Литературке»... В общем, рассказ свой я принес Альтову не потому, что был таким смелым и не боялся критики. Мне представляется сейчас, что это Борька – большой мастер на провокации – убедил меня показать очередной опус Генриху Сауловичу. Не помню, что мне было сказано после прочтения. Помню ощущение: все очень плохо. Текст был исчеркан красными чернилами, как после отвратительно написанной контрольной по литературе.

Я понял, что писателя из меня не выйдет, но и в университеты переквалифицироваться не хотел. Правда, я уже тогда знал, что буду астрономом, так что, если литература не для меня, то ведь оставалась наука.

В это время неутомимый Борчака свел меня с другим своим приятелем – Ромой Леонидовым, который тоже любил фантастику, тоже хотел ее писать и тоже боялся оказаться непонятым и непризнанным. Рома был старше меня на год, учился в другой школе – в нескольких кварталах от моего дома, – и собирался в следующем году поступать в консерваторию на отделение скрипки. Я же о себе точно знал, что стану астрономом и буду работать в обсерватории, даже если ради этого в первое время придется мыть в этой обсерватории полы, а не проводить наблюдения. Что до Бори, то он хотел стать психологом или, на худой конец, психиатром, и намерен был изобрести новый способ лечения всех психических болезней. Потому нам и было интересно вдвоем – мы были такими разными, что никогда не могли прийти к согласию ни по каким вопросам.

С Ромой Леонидовым мы написали небольшой юмористический рассказ «Престиж небесной империи» – нечто совсем не похожее на то, что писал я, и на то, что писал Рома. Я и сейчас проглядываю этот текст без пренебрежения – во всяком случае, идея была для нашей фантастики совершенно новой: души роботов попадают в рай (а куда же им попасть, если они совершенно безгрешны?). Через некоторое время

Главный Робот устраивает в раю революцию и занимает место Бога...

Рассказ Альтову понравился, и теперь мы ходили в дом на Апшеронской уже втроем, а часто опять вдвоем, но уже без Борчаки, у которого было много дел и без наших фантастических посиделок.

– В фантастике главное – новая интересная идея, – говорил Генрих Саулович. – Нет идеи – нет рассказа. Есть вата. Вы любите есть вату? Нет. Вот и рассказ без идеи читать не интересно.

Я перечитал свои прежние опусы и увидел, что все идеи – если они вообще там были – заимствованы из чужих произведений. А уж как это было написано... «Горный хребет здесь сворачивал перпендикулярно своему предыдущему направлению»... Это в повести, описывавшей приключения на Титане, спутнике Сатурна, том самом Титане, на который почти полвека спустя высадились исследовательская автоматическая станция «Гюйгенс».

Надо было работать над собой, и теоретически, слушая Генриха Сауловича, я даже знал, что именно нужно делать. Но... «суха, мой друг, теория везде»... Иными словами, в приличные тексты наши беседы пока не переплавлялись, а наслушавшись лекций о том, что без новых идей нет хороших произведений, мы с Ромой Леонидовым решили создать механизм, с помощью которого каждый писатель-фантаст мог бы создавать не только идеи, но и сюжеты, и даже – желательнее! – сами тексты.

Почему возникло такое желание – понятно. Альтов как раз в то время работал над своей «изобретающей машиной», похожей на механический арифмометр. Машина стояла в его кабинете, и можно было, введя в нее условия технической задачи и покрутив ручку, получить на выходе не изобретение, конечно, но некие промежуточные решения, способные помочь в работе с АРИЗом – алгоритмом решения изобретательских задач.

У нас с Ромой все было проще, мы пошли по пути средневекового монаха Луллия, который придумал таблицы, с помощью которых можно было (так, во всяком случае, полагал автор) делать правильные пророчества. Мы тоже нарисовали таблицы на больших листах ватмана – по сути, это были так называемые «морфологические ящики», придуманные, конечно, не нами, а за двадцать лет до нас – американским астрофизиком Фрицем Цвикки. С помощью своих «морфологических ящиков» Цвикки в годы Второй мировой войны предсказал в астрономии открытие нейтронных звезд и черных дыр, а в технике – множество типов ракетных двигателей. Мы же с помощью наших таблиц довольно быстро «придумали» десятка два вполне «дееспособных» идей для фантастических рассказов, но сюжеты, также выданные таблицами, с этими идеями решительно не хотели состыковываться. Что до текстов, то получались странные фразы, сами по себе, возможно, даже красивые, но совершенно не подходившие ни к идее, ни к сюжету. До сих пор помню фразу, в которой были слова «мраморный рафинад памятников», и куда мы эти памятники могли вставить, если речь шла о попугае, проживавшем в Атлантиде, а действие должно было происходить на восьмой планете в системе Дельты Козерога?

В конце концов из трех табличных систем, трех «морфологических ящиков» мы оставили один – генератор идей. И действительно написали несколько рассказов, один из которых как раз и был о попугае из Атлантиды. Сюжет, впрочем, мы придумали сами, без помощи таблиц, рассказ получился вполне читабельным – несколько лет спустя он был опубликован в Бакинском сборнике фантастики «Эти удивительные звезды».

* * *

Собираясь дома у Генриха Сауловича, мы обсуждали, конечно, не только фантастику, но и новости науки и техники, и

собственные идеи, и вообще все прочитанное, увиденное и узнанное. Как-то говорили о методах инквизиции, и Боря выразил сомнение в том, что пресловутая «пытка каплями» может заставить человека «расколоться» и подписать любое признание.

– Подумаешь, – горячился Боря, – капля камень точит! Ну да, точит, но дырку в нем сделает за миллион лет. Люди столько не живут! Если человеку на голову капать хоть десять лет подряд, он только мокрым станет, и все.

– Может, проверим? – предложил Альтов.

– Я готов, – немедленно согласился Боря. – Когда начнем?

Решили тщательно подготовиться, чтобы все было строго по-научному. Собрались на следующий день. К люстре Генрих Саулович подвесил обычную резиновую клизму, в которой проделали дырочку с таким расчетом, чтобы каждую секунду падала большая капля. Под «капельницей» поставили стул, на который должен был сесть «реципиент» – Боря. На темени у испытуемого выбрили небольшую тонзуру (больше месяца Боря ходил потом, не снимая головного убора, так что лишь домашние, да мы, участники эксперимента, знали о том, что с шевелюрой у него не все в порядке), усадили Борю на стул, измерили высоту клизмы – почему-то решили, что капля должна была пролететь расстояние, равное метру. Возможно, рассуждали так: капля не должна развалиться в полете, но, с другой стороны, должна успеть набрать достаточно большую скорость. Пospорили о том, привязывать ли «реципиента» к стулу, и решили лишь «зафиксировать» голову, чтобы капли падали точно в одно и то же место. Дело было летом, и потому Боря с удовольствием снял рубашку и майку – не мочить же одежду, в чем потом домой идти?

Начали в восемь вечера. Полчаса прошли в обычных разговорах, Боря сидел спокойно, старался не шевелиться, «пытка» не производила на него ни малейшего впечатления. В половине десятого (на полу уже растекалась довольно

большая лужица) решили посидеть еще полчаса и прекратить испытание.

Минут через пять Боря, отвечая на реплику Генриха Сауловича, брякнул какую-то чепуху, на которую мы сначала не обратили внимания. Через минуту Борчака сказал что-то, заставившее нас перегляднуться – ну не мог человек в здравом уме и твердой памяти сказать то, что сказал сидевший под капельницей реципиент. Если, конечно, не делал это специально.

– Шутишь? – спросил Рома.

Боря бросил на него такой свирепый взгляд, что стало ясно: не только не шутит, но вообще ни о какой провокации с его стороны и речи быть не может.

Еще через несколько минут Боря начал читать стихи. В принципе, в этом не было бы ничего удивительного, если бы не два обстоятельства. Во-первых, Борчака терпеть не мог поэзию и не знал наизусть ни одного стихотворения, а вторых, читал он стихи или никому не известного автора, или собственного сочинения, причем, похоже было, что просто говорил в рифму, как отшельник в повести Роберта Шекли «Обмен разумов», которую мы, впрочем, тогда еще не читали, поскольку молодогвардейский сборник произведений американского фантаста вышел из печати несколько лет спустя.

Говорил Боря с пафосом, размахивая руками и все-таки стараясь вертеть головой, что у него не получалось. Сейчас я уже, конечно, не помню «стихов», которые он декламировал, было это примерно в таком духе:

Точно где-то и когда-то,
Почему-то и всегда-то,
Камышом пропитан воз,
А потом лежит навоз.

Ровно в десять мы решили «прекратить этих глупостей», признать опыт полностью удавшимся, сняли «прибор для

пыткок» и принялись обтирать реципиента сухим полотенцем. Он позволял осуществлять с собой любые манипуляции, был задумчив и продолжал что-то бормотать себе под нос. Мы с Ромой проводили Борю до дома, на улице он быстро пришел в себя – во всяком случае, никаких отклонений в его поведении мы больше не замечали.

Нам, кстати, так и не удалось потом вырвать у Бори признание в том, что он нас дурачил. «Это же наука! – говорил он. – Разве я мог?»

История эта на том, однако, не закончилась. Пока шел эксперимент, Альтов отснял несколько кадров, а на другой день напечатал фотографии. Мы с Борей пришли с очередным визитом на следующей неделе (телефонов в то время ни у кого из нас – в том числе и у Альтова – не было, так что согласовать время посещений мы не могли и либо договаривались заранее, либо являлись, когда возникало желание) и не застали Альтова дома. Генрих Саулович и его жена пошли погулять – об этом нам сообщила мать Валентины Николаевны (семья Альтовых жила с родителями Вали). Разумеется, она прекрасно знала нас обоих, поэтому, когда мы вновь пришли на следующий день, рассказ Альтова нас попросту потряс:

– Возвращаемся мы с прогулки, и Валина мама говорит: «К вам тут двое приходили». Имен ваших она не помнит, но видела каждого много раз. Поэтому я не стал спрашивать: кто. У меня была отпечатанная фотография нашего эксперимента: Боря сидит под капельницей. Но получился дефект – два кадра на одном, и в результате на фотографии Боря отпечатался дважды. «Да-да, – сказала Валина мама, посмотрев на снимок. – Они и приходили. Этот и этот».

Видимо, что-то сдвинулось в мировом пространстве в результате нашего опыта...

* * *



Портрет Г.С. Альтова.
Художник С.Ю. Скипин.

Мы знали, конечно, что Альтов в сталинские времена сидел в лагерях, и выпустили его лишь после смерти вождя. О том времени Генрих Саулович рассказывать не то чтобы не хотел, но сам на эту тему разговоров не заводил, а спрашивать мы считали неприличным – и не спрашивали.

Как-то я пришел к Альтову один; то ли принес почитать новый свой опус, то ли, наоборот, хотел

узнать, что думает Генрих Саулович по поводу уже прочитанного. Погода была плохая, лил дождь, дул ветер – типичная бакинская осенняя погода. Может, из-за погоды, а может, по иной какой-то причине, но Генрих Саулович начал вспоминать – чего никогда прежде не делал – годы своей отсидки. В тот вечер я вернулся домой поздно – кажется, за полночь. Разумеется, рассказ был подобен пунктиру – Альтов подробно останавливался на каких-то, возможно, не очень важных эпизодах, а важное пропускал, я не перебивал, но не уверен, что запомнил все. То есть, наверняка уверен, что всего не запомнил. А больше такого случая не представилось.

Позднее, много лет спустя знакомые тризовцы говорили мне, как Альтов во время семинаров – точнее, после, конечно, когда вечерами обсуждали в гостинице проделанное за

день – рассказывал им о своей молодости. Похоже, что рассказ его был практически таким же – возможно, в тот дождливый вечер Генрих Саулович проверял на мне реакцию будущих слушателей? Впрочем, вряд ли – тогда он и знать не знал, что лет через десять будет ездить на семинары, где станет рассказывать не только об основах ТРИЗ, но и об истории этой науки – и своей собственной истории...

* * *

Генрих Альтшуллер (Альтов – литературный псевдоним, придуманный, когда Генрих Саулович начал писать фантастику) и его друг Рафаил Шапиро окончили Бакинский индустриальный институт вскоре после войны. У них уже были свои изобретения – например, паровой катер, который молодые люди испытывали в одном из бассейнов. О том, как это происходило и чем закончилось, Генрих Саулович рассказал в одном из немногих своих опубликованных воспоминаний. И еще они изобрели газотеплозащитный скафандр, в котором можно было находиться даже в самом центре пожара. Они прочитали все, что могли найти, о психологии изобретателей, изучили состояние изобретательства в Советском Союзе и поняли, что дела обстоят не лучшим образом. Проанализировав проблему, Генрих и Рафаил обобщили свои соображения в большом письме, которое направили лично вождю всех народов и отцу всех изобретателей Иосифу Сталину. А на тот, видимо, случай, если вождь не найдет времени или желания ответить, они отпечатали сорок (!) копий этого письма и разослали в сорок газет – начиная с самой главной: «Правды».

Оба, кстати, по образованию были химиками и изобретали разные химические соединения: смесь для дыхания под водой, а еще смесь, ингредиенты которой можно купить в любой аптеке и получить вещество огромной взрывной мощности. Такой, что даже сказать страшно. Если эта смесь по-

пала бы в руки врага, то враг этот сумел бы (о ужас!) взорвать парад на Красной площади.

Почему-то именно это – возможность взорвать именно парад на Красной площади – запомнилось мне тогда больше всего. Конечно, я и в тот вечер, и позже много раз просил Генриха Сауловича раскрыть секрет и сказать, какие именно препараты нужно купить в аптеке, чтобы получить «сверхдинамит». Ни тогда, ни позже Альтов мне на этот вопрос не ответил – одно время я даже думал, что и отвечать ему было нечего и ужасная смесь является плодом его фантазии. Но – вряд ли. Ведь именно попытка взорвать парад на Красной площади стояла первым пунктом в обвинительном заключении против Альтшуллера Г.С. Значит, действительно писали они в своем письме Сталину об изобретенном ими веществе страшной разрушительной силы.

Написали друзья письмо и стали ждать ответа – если не от вождя, то хотя бы из газет. А теперь представьте себя на месте редактора газеты «Правда» (не говорю уж о прочих 39 изданиях), на стол которого ложится письмо, начинающееся словами: «И.С.Сталину, копия в газету...». Ответить автору? Невозможно, надо сначала узнать, что по этому поводу думает главный адресат. Не отвечать? А если главный адресат узнает, что газеты не реагируют на сигналы читателей? В общем, незавидное было положение у тогдашних редакторов – если еще учесть, что не только Альтшуллер с Шапиро писали Самому (копия в газету) письма с разного рода идеями и предложениями. Но ответить авторам раньше, чем это делает вождь, ни один редактор, тем не менее, не решился.

Может, на том бы эта странная история и закончилась – не стали бы редакторы газет отправлять странное письмо в МГБ, поскольку, опять же, не могли знать реакцию Иосифа Виссарионовича. А донес на молодых людей – как это обычно и бывает – их общий знакомый, фамилию которого Генрих Саулович мне не назвал, да если бы и назвал, это не

имело бы никакого значения, поскольку имена друзей его молодости ничего мне не говорили. Да и доказательств, что донес именно этот человек, у Альтова не было. Просто однажды, сидя в курилке Бакинской Публичной библиотеки, Генрих и Рафик беседовали все о том же письме, и все о том же страшном препарате, и все о том же возможном взрыве парада, который могли бы организовать враги – конечно, вести подобные беседы в публичном месте было по меньшей мере неосмотрительно, но это стало им понятно позже. А тогда – Генрих это точно видел – неподалеку крутился их знакомый, который вполне мог этот разговор слышать.

Арестовали обоих несколько дней спустя. Арест произвели в один день и час – Генриха «взяли» в Баку, а Рафика – в Тбилиси, куда он поехал в командировку. Видимо, вина обоих перед советской родиной была так велика, что местным органам госбезопасности не доверили вести их дела – Генриха отправили в Москву сразу после ареста, а Рафика – чуть позже, после нескольких допросов. О своем пребывании в Бутырской тюрьме и лагерях Рафаил Борисович Шапиро написал много лет спустя небольшую по объему, но чрезвычайно емкую по содержанию книгу «Опять двадцать пять», увидевшую свет, к сожалению, уже после смерти автора. Генрих Саулович книги о своей жизни написать не успел...

* * *

Когда арестовали Рафика Шапиро, в Тбилиси стояла удрушающая жара. Первые допросы проводили в местном отделении МГБ, а содержали в КПЗ, откуда и доставляли каждый день в самое жаркое время. К тюрьме подъезжал «воронок», где не было ни одного окна, Рафика быстро выводили из камеры, запихивали в эту душегубку и куда-то долго везли. На жаре кабина раскалялась так, что дышать становилось невозможно, воздух снаружи не поступал, и, когда подъезжали, наконец, к нужному месту (где оно, это место, находилось,

Рафик так и не узнал никогда), узник был уже в полуобморочном состоянии.

Открывалась дверь, конвоир давал команду: «Быстрее! Вперед!», и Рафика, уже терявшего сознание, подгоняя пинками, заставляли взбегать (не подниматься, а именно взбегать) на шестой этаж. Допрос начинался, как только совершенно обессилевшего и ничего не соображавшего Рафика вталкивали в кабинет следователя.

Не били, даже не очень кричали – считали, видимо, лишним: и без того подпишет все, что дадут.

Рафик не подписал. Не поверил, в частности, и утверждению следователя, что, мол, нечего кочевряжиться, Альтшуллер вот все уже подписал и во всем сознался, пора и тебе...

Генриха привезли в Москву, в Бутырку, и поместили в двухместную камеру. Сосед оказался человеком вполне приличным – в тюрьму попал всего лишь за то, что хотел (заметьте – хотел, но не сделал, видимо, не успел, вовремя «взяли») развалить советское сельское хозяйство. Вообще-то в 1949 году это хозяйство уже было развалено усилиями, понятно, не соседа Генриха по камере. Я не запомнил имени «разрушителя», фамилия же его была Заседский, это был молодой человек, немногим моложе Генриха, студент-математик. Естественно, кому еще разваливать сельское хозяйство, если не математику?

С соседом Генрих быстро нашел общий язык – было о чем поговорить с интеллигентным человеком. Если бы не допросы...

На первом же допросе следователь предложил сделку. Все равно, мол, все, что надо, подпишете, и потому, во-первых, лучше не тратить зря времени, а во-вторых, для смягчения приговора назвать того, кто вас, такого молодого и неопытного, втянул в гнусную политическую интригу против советской власти. Если большая часть вины лежит на ком-то, то на вас, соответственно, меньшая. Надо только выбрать чело-

века, которого...

Предать?

Это не предательство, – говорил следователь. Допустим, этот человек уже умер, ему ведь все равно, а вам будет облегчение участи. И уточнил: отец ваш скончался, верно? Ну вот, допустим, он вас в антисоветскую деятельность и втявил...

Я не знаю, каким взглядом посмотрел на следователя Альтшуллер, когда услышал это предложение. Не знаю, какие в точности слова сказал. На мой вопрос Генрих Саулович ответил коротко:

– Я отказался.

И принялся рассказывать о том, как проводились допросы. Впоследствии мне много раз приходилось слышать об этой методике, впоследствии мне вообще много чего довелось читать о сталинских застенках и лагерях (от Солженицына до Шаламова и Разгона), но в тот вечер (еще не был опубликован даже «Один день Ивана Денисовича!») многое я слышал и узнавал впервые, и потому впечатления были подобны взгляду в неожиданно разверзшуюся перед глазами пропасть.

– Отбой в тюрьме был в десять вечера. В камере выключали свет и включали ровно в шесть утра, когда была побудка. Ночью полагалось лежать на нарах и спать, а днем лежать не разрешалось, спать – тем более, только сидеть, стоять или ходить по камере. Без десяти десять, когда мы с Заседским начинали готовиться ко сну, дверь распахивалась, появлялся вертухай и спрашивал:

– На букву «А» есть?

Нас всего-то было двое: я и Заседский, но ритуал есть ритуал.

– Есть, – отзывался я.

– Фамилия!

– Альтшуллер.

– На выход.

Ровно в десять вечера в камере выключали свет, а в кабинете следователя начинался допрос, продолжавшийся всю ночь. Без четверти шесть допрос заканчивался, меня отводили в камеру, я без сил валялся на нары, и сразу же включался свет, звучал сигнал побудки, в глазок заглядывал вертухай и кричал:

– Подъем!

Сколько может жить человек без сна и не сойти с ума?

* * *

Смысла в допросах не было никакого: никого из своих «общников» и «вдохновителей» Генрих называть не собирався, вопрос об отце решен был в первую же ночь, но все равно «задушевные беседы», а точнее, монологи следователя продолжались из ночи в ночь, и через несколько суток усталость стала невыносимой. Человек может прожить месяц без пищи, две недели – без воды, но без сна не больше нескольких дней, в психике происходят необратимые изменения, можно сойти с ума, а прежде подписать любую бумагу, что подсунет следователь.

Нужно было придумать способ спать днем, но так, чтобы вертухай этого не заметил. Лежать нельзя. На ходу или стоя, не уснешь – человек все-таки не лошадь. Значит, надо было спать сидя, но вертухай заглядывал в глазок каждые четверть часа и, если бы увидел заключенного, сидевшего с закрытыми глазами, немедленно его разбудил бы. Следовательно, надо было спать сидя, но – с открытыми глазами. Но ведь это невозможно...

Типичная изобретательская задача: спать нужно, но спать нельзя. Как разрешить это противоречие? Генрих придумал. Заключенным позволяли курить, и у Генриха была пачка «Беломора». Ножниц, естественно, не было – пришлось аккуратно оторвать от пачки два кусочка, размерами и формой похожие на глазницы. Писать тоже было нечем, поэтому вос-

пользовались обгоревшей спичкой и изобразили в центре каждой «глазницы» черные точки-зрачки. Генрих сел на нары, прислонился к стене, закрыл глаза и приложил к каждому глазу по бумажке. Издалека, если смотреть в дверной глазок, это выглядело, будто человек сидит на нарах и внимательно, не мигая, смотрит перед собой. Если всматриваться, то можно было, наверно, понять, что что-то здесь не в порядке, но вертухай обычно бросал беглый взгляд: заключенный спит? Не спит, сидит на нарах, глаза открыты...

Генрих спал, а Заседский ходил перед ним по камере, что-то говорил, жестикулировал – в общем, изображал беседу. Вечером, когда Альтшуллера в очередной раз вызвали на допрос, он был далеко не таким уставшим, как надеялся следователь. На следующий день удалось еще немного поспать, и на следующий – тоже...

Шли дни, заключенный почему-то не «ломался», хотя, как докладывали надзиратели, не спал ни минуты. Но сам Генрих начал понимать, что следователь его все равно «дожмет» – не сейчас, так через две недели. Надо было как-то от этого следователя избавиться, другой может оказаться хуже или лучше, но, скорее всего – так, во всяком случае, утверждало «тюремное радио», – методы допроса будет использовать другие.

Опытные зэки утверждали также: бессмысленно требовать, чтобы поменяли следователя, начальство никогда этого не сделает. Но следователя заменят обязательно, если между ним и заключенным произошел конфликт с применением физической силы: нет, не следователь ударил заключенного (это в порядке вещей), а наоборот, заключенный поднял руку на следователя. Правда, после такого инцидента заключенного отправляли в карцер, но зато после отбытия этого наказания назначали другого следователя.

Этим советом Генрих и решил воспользоваться. Но не успел. Случай сделал это за него. Хотя днем и удавалось не-

много поспать, но этих минут было явно недостаточно, и Генрих видел мир, как в тумане, не всегда понимал, что с ним происходит. Когда его привели на очередной допрос и посадили на табурет, привинченный к полу возле двери, Генрих увидел на столе у следователя стакан воды. Пить хотелось неимоверно, и он встал, хотя это было строжайше запрещено, и медленно пошел к столу, что было следователем тут же интерпретировано, как попытка физического насилия.

– Куда! – закричал он. – Сесть!

Генрих продолжал идти, подобно сомнамбуле, с совершенно безумным взглядом. Его привлекал стакан, а вовсе не отвратная морда следователя. Но в комнату уже вбежали охранники, заключенного скрутили...

Неделю он провел в сыром карцере, но уж выспался... А следователя ему после этого действительно заменили. И ночные допросы прекратились. Видимо, новый следователь не любил спать днем...

* * *

Начальство Бутырки изощрялось, выдумывая самые экстравагантные способы, чтобы «сломать» заключенных. Однажды под окна камеры во внутреннем дворе тюрьмы подогнали компрессор, и с тех пор почти весь день – с утра до вечера – эта машина грохотала так, что в двух шагах невозможно было слышать собеседника. Шум утомляет, постоянный грохот может довести человека до иступления. Затычки для ушей заключенным не полагались, а самоделки из бумаги помогали мало. Опять возникла изобретательская задача: как обратить вредный фактор в фактор полезный? Решение было найдено: когда включали компрессор и разговаривать становилось невозможно, Генрих и его сокамерник начинали горланить все антисоветские песни, какие знали. Горланили в полный голос, не опасаясь, что их услышит вертухай, наверняка ходивший с затычками в ушах.

Генрих с Заседским не только пели известные песни, но пытались сочинять свои. И все бы хорошо, но однажды у компрессора среди дня то ли испортился двигатель, то ли кончилось горючее. Совершенно неожиданно грохот прекратился, а Генрих, который ничего вокруг не слышал, кроме самого себя, продолжал во весь голос горланить всякую антисоветчину. И лишь когда в камеру ворвалась охрана, до него дошло, что настала тишина...

И опять был карцер, на этот раз – за дело...

* * *

Показания, написанные следователем, Генрих так и не подписал, но это, в общем, никого и не беспокоило. Несколько недель спустя следствие завершилось, и Альтшуллера вызвали на судебное заседание.

– Я думал, – рассказывал Генрих, – точнее, надеялся, на то, что это будет хотя бы видимость судебного заседания: обвинитель, судья, заседатели... Без защитника, но защищать я собирался себя сам. Понимал, что получу срок – ну, сколько мне могли дать? Пять лет, семь?.. Все оказалось проще и стремительней: в маленькой комнате сидели за столом три человека в форме, меня ввели, один из них встал и в течение минуты огласил приговор: двадцать пять лет лагерей. Я сначала не понял и переспросил: сколько, пять? Мне все еще мерещилась эта цифра. «Двадцать пять», – повторил человек во френче. И тогда я потерял сознание...

* * *

Альтшуллера отправили в Воркутлаг и поселили в барак к уголовникам. Расчет начальства, видимо, был таким: шпана быстро собьет спесь с «политического» или вовсе, не признав за своего, сунет перо под ребро. Нет человека – нет проблемы.

Главенствовали в бараке воры в законе, и основная экзе-

куция, скорее всего, предполагалась после отбоя. Возможно, это действительно была бы последняя ночь в его жизни, если бы кто-то из главарей не спросил «приговоренного»: кто такой? Откуда?

Генрих ответил: инженер, мол, изобретатель. В общем, интеллигент.

– Истории знаешь? – был следующий вопрос.

Истории Альтшуллер знал – книг он прочитал много, от классики до современных авторов, да и сам мог придумать много чего, но кто мог знать, какие истории интересовали эков? Расскажешь не то или не о том, или не так – и кранты, не станут и ночи дожидаться. Терять, впрочем, было нечего, небольшая разница – вечером или ночью... И Генрих принялся рассказывать вора в законе Гриновскую «Золотую цепь», одно из своих самых любимых произведений.

В бараке стало тихо. К слушавшим подтянулось «пополнение», рассказывал Генрих долго, не торопился, тянул время, но всякому рассказу приходит конец. И что дальше?

– Еще, – услышал он. – Еще знаешь?

– Знаю, – сказал Генрих и приступил к «Бегущей по волнам».

Рассказывал до утра и поражался: у привыкших вроде бы ко всему эков, в которых, как он думал, не осталось ничего человеческого, на глазах стояли слезы, и чем сентиментальнее была история, тем больший восторг она вызывала. Когда Генрих рассказал «Алые паруса», многие откровенно плакали.

Александр Грин спас Альтшуллеру жизнь.

– Спать будешь здесь, – сказал «пахан», и Генриху освободили нары на нижнем ярусе.

Так для Генриха Сауловича Альтшуллера началась лагерная жизнь. На работу он не ходил – как и все воры в законе, к которым теперь Генрих был волею судьбы причислен.

Прошли несколько недель, Генрих занимался тем, что обдумывал и записывал кое-какие идеи из области методики

изобретательства, но ему наскучило валяться целыми днями на нарах и по вечерам пересказывать эзкам в сотый раз одни и те же произведения (они, как дети, любили по много раз слушать понравившиеся истории). В результате его перевели в другой барак – к политическим, и послали работать: к счастью, не в шахту, а в шахтоуправление, назначив руководить производственным процессом. «Но я понятия не имею, как это делать! – сказал Генрих. – Никогда не читал книг по угледобыче». «А тебя не спрашивают, умеешь или нет, – было ему сказано. – Говорят – делай!»

Пришлось учиться на ходу, благо кое-какие книжки, из которых можно было выудить хоть какую-то полезную информацию, в шахтоуправлении все-таки были.

Наступила воркутинская зима – морозы под сорок. В комнате шахтоуправления, где работал Генрих, стояла печка-буржуйка, дрова для которой носил старичок-эзк, из политических. Как-то вечером, когда старик принес вязанку дров и принялся разжигать огонь, они с Генрихом разговорились. Естественно, Генрих спросил: за что? Откуда? Кем был на воле? Ответ его потряс: старичок оказался бывшим заместителем наркома угольной промышленности, одним из крупнейших в СССР специалистов по добыче угля.

– Но послушайте! – воскликнул Генрих. – Как же так? Вы знаете о добыче все, я не знаю ничего. Вы должны сидеть на этом стуле и руководить, а я – носить дрова! Завтра же пойду к начальству...

– Нет, – твердо сказал бывший замнаркома. – Если вы это сделаете, мы оба попадем в карцер. Менять ничего нельзя.

– Тогда, – не менее твердо сказал Генрих, – вы будете приносить дрова, садиться на этот стул и принимать решения, а я буду учиться и делать все так, как вы скажете.

Так они и поступили, о чем лагерное начальство, к счастью, не догадывалось, иначе действительно этот обмен ролями мог плохо кончиться для обоих.

* * *

В 1953 году умер Сталин, в том же году был расстрелян Берия, из лагерей выпустили уголовников, до политических очередей дошла далеко не сразу, в 1954 году Альтшуллер все еще «руководил» угольной шахтой в Воркутлаге, а его мать, ничего не зная о судьбе сына, продолжала – вот уже пятый год – добиваться справедливости, ездила в Москву, где получала из разных инстанций одни отписки.

Она покончила с собой за несколько месяцев до того, как дело ее сына было пересмотрено, и он вернулся домой, в Баку, после пятилетнего отсутствия.

Одновременно с Альтшуллером вернулся и Рафаил Шапиро, так же, как Генрих, получивший свои двадцать пять.

На последний суд, отменивший приговор, Генриха Сауловича везли через всю страну – Воркута-Москва-Ростов-Баку. В Баку на вокзале его ждал «черный ворон». Была такая же жара, как тогда, в сорок девятом. В «воронке» были две камеры, два металлических «шкафа», в один из которых посадили Альтшуллера, а в другой – беременную женщину. Женщине было плохо, она плакала, просила открыть двери, а потом, чувствуя, что больше не выдержит, начала страшно кричать...

– За все годы лагерной жизни, – вспоминал Генрих Саулович, – я ни разу не плакал. Но тогда... Я слышал ее крики и думал: «Какого черта я тратил ум и энергию, изобретая газотеплозащитный скафандр? Нужно было изобрести что-нибудь, что не позволяло бы сажать беременных женщин в шкаф и пытать жарой». И я поклялся, что если выживу, брошу методику изобретательства, потому что все это человечеству ни к чему не нужно...

Он еще не знал о том, как пытали жарой его друга после ареста – об этом Рафаил Шапиро рассказал Генриху потом, когда они, наконец, встретились.

* * *

Клятвы своей Генрих не сдержал. Он выжил и создал ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач.

...ы сидели в теплой комнате в квартире Альтшуллера на Бакинской улице Полухина, за окном лил дождь, время было позднее, надо было уходить, а я не мог подняться с места. Я и спрашивать ни о чем был не в состоянии – только слушать.

После того вечера я стал гораздо строже относиться к собственным фантастическим опусам – невозможно было показывать Генриху Сауловичу тексты, в которых не было СОБСТВЕННОЙ и обязательно НОВОЙ идеи или мысли.

Несколько месяцев спустя я все-таки набрался смелости и принес на суд рассказа, прочитав который Генрих Саулович сказал:

– Это на четыре головы выше, чем ты писал раньше. Это уже можно послать в Москву.

Рассказ назывался «Все законы Вселенной», он был опубликован несколько лет спустя в молодогвардейском ежегоднике «Фантастика-68». Наверно, если бы не было того дождливого вечера и того потрясения, я не смог бы придумать идею, по тому времени радикальную и для марксистско-ленинской науки невозможную:

«Мы говорим: материя первична, а вторичны формы ее проявления. Законы движения материи, которые, собственно, и представляют собой всю совокупность законов природы, есть неотъемлемое СВОЙ-



ФАНТАСТИКА

СТВО материи, и как всякое свойство, они могут быть изменены.

Нужно, чтобы все поняли... Фундамент у нас один – материя, а строить на этом фундаменте мы можем все что угодно»...

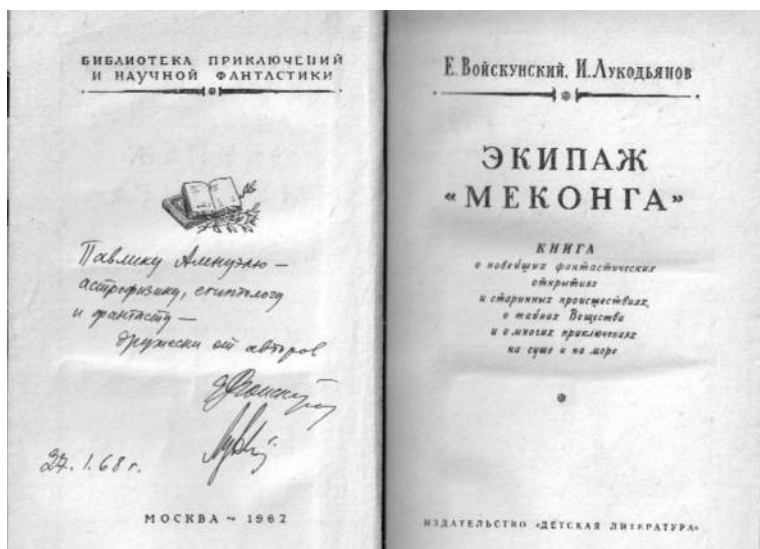
Часть 6

ЭТИ СЛАВНЫЕ ШЕСТИДЕСЯТЫЕ...

В начале шестидесятых годов прошлого века в советской фантастике настали времена, каких не было ни до, ни после – сейчас это называется оттепелью, а тогда было ощущение, что происходит бурный расцвет и что теперь-то с «электрическими тракторами» покончено навсегда и писать можно все что угодно и о чем угодно. И ведь писали! Появлялись совершенно новые для советской фантастики темы – кибернетика у Анатолия Днепрова, удивительно привлекательный коммунизм у братьев Стругацких, полеты к звездам у Генриха Альтова и Георгия Гуревича, романтика научного поиска у Валентины Журавлевой и Владимира Савченко, увлекательные приключения в прошлом и будущем у Евгения Войскунского и Исаия Лукодянова...

Так получилось, что в Баку – городе достаточно удаленном от союзных центров культуры – число писателей-фантастов на душу населения оказалось выше, чем даже в Москве и Ленинграде. Генрих Альтов, Валентина Журавлева, Евгений Войскунский и Исай Лукодянов – эти имена в начале шестидесятых годов были известны каждому любителю фантастики от Бреста до Владивостока. Книги этих авторов выходили в московских издательствах, а роман «Экипаж “Меконга”» Е. Войскунского и И. Лукодянова можно было без всяких преувеличений назвать бестселлером.

Между тем, в Баку писали в те годы фантастику еще больше десяти человек – одни стали потом популярны, имена других канули в Лету, но факт тот, что количество авторов-



фантастов в нашем городе должно было, согласно законам диалектики, привести к появлению качественно новой ситуации.

Первым это почувствовал Евгений Львович Войскунский. В 1963 году он был уже уважаемым членом Союза писателей Азербайджана, опубликовал не только фантастические, но и реалистические произведения: романы о Великой Отечественной Войне – Войскунскому было что рассказать о том времени, он воевал во флоте, участвовал в обороне Ханко. Если о военных романах Виктора Некрасова говорили «окопная правда», то о романах Евгений Львовича Войскунского вполне можно было сказать: «военно-морская правда». В Союзе писателей Войскунского уважали – не столько, может быть, за его собственные произведения, сколько за то, что он переводил на русский язык творения местных авторов, тех, о ком говорили: «наши национальные кадры». По-русски эти кадры говорили с сильным акцентом, а писать и вовсе не умели; точнее, русской грамоте их в школе обучили, но ли-

тературному языку – нет. Между тем, каждому хотелось выйти «на всесоюзные рынки», без русского перевода это было невозможно. Не только Евгений Львович, конечно, занимался переводом азербайджанской литературы, но у него это получалось лучше, чем у других. Вообще говоря, это и не перевод был и даже не пересказ, а просто сочинение на тему, и далеко не всегда русский текст «переведенного» произведения, сделанный по авторскому подстрочнику, имел достаточно точек соприкосновения с оригиналом.

Так и получилось, что в одном из кабинетов СП, отведенном для заседаний новой комиссии, собрались однажды все бакинские авторы-фантасты. Нужно было сформулировать цели создания комиссии. Конечно, обсуждение новых произведений, работа с молодыми авторами, но главное – выпуск собственных сборников фантастики. Раз уж в СП к фантастике относились благосклонно, нельзя было упускать эту возможность. И потому в работе комиссии изначально выделились два направления: обсуждение новых произведений и подготовка сборника к печати.

Председателем Комиссии по научно-фантастической литературе при СП Азербайджана был избран Евгений Львович Войскунский, других кандидатур и не было, поскольку он единственный среди фантастов был в то время членом Союза. В состав Комиссии вошли Генрих Саулович Альтов (Альтшуллер), Валентина Николаевна Журавлева, Исай Борисович Лукодьянов, Рафаил Борисович Бахтамов (Шапиро) и Эмин Махмудов, писавший по-азербайджански рассказы вполне в духе фантастики ближнего прицела. Махмудов прекрасно понимал свои литературные возможности и потому на заседаниях обычно помалкивал, оживляясь лишь во время обсуждений его рассказов, которые переводил на русский язык Рафаил Бахтамов.

Не знаю, как Комиссия работала первые месяцы – Евгений Львович привел меня на заседание весной 1964 года,

когда уже сформирован первый сборник бакинской фантастики «Формула невозможного». Кроме Войскунского мне были знакомы из присутствовавших Альтов и Журавлева, я часто бывал у них дома, обсуждал с Генрихом Сауловичем свои первые опыты – точнее можно сказать, что Генрих Саулович их осуждал и правил, а я пытался понять, как же все-таки маститые авторы умудряются создавать шедевры вроде «Легенд о звездных капитанах», «Легенды о звездах» и «Экипажа “Меконга”».

Маститым авторам в те годы было всего по тридцать-сорок лет, но мне, двадцатилетнему, они казались умудренными старцами, чей вердикт непререкаем и суров. В день моего появления на Комиссии состоялось заседание президиума СП Азербайджана, на котором в члены Союза принимали Генриха Альтова и Валентину Журавлеву. У обоих было что предъявить членам президиума: книги, выпущенные в Москве, в престижных издательствах «Детгиз» и «Трудрезервиздат». Валентину Николаевну приняли единогласно («Женщина! Фантастику пишет! Вах-вах! Надо же!»), а с Генрихом Сауловичем вышла осечка.

Аксакалам, заседавшим в президиуме, сразу не понравилась независимость, с какой держался Альтов. Фантаст, понимаешь... Про звезды какие-то пишет, а ведет себя так, будто все о жизни знает.

– Чтобы хорошую литературу писать, – заявил секретарь СП, – надо иметь жизненный опыт. Вы должны поехать по объектам. Совхозы, понимаете, колхозы...

Генрих Саулович, уже накопивший определенный жизненный опыт во время пребывания в Воркутлаге, лишь плечами пожал.

– Для того, чтобы писать хорошую фантастику, – ответил он, – ничего этого не нужно. Да и для литературы вообще. Вы думаете, что, если ездите в колхоз, то и романы у вас хорошие получаются?

После чего Альтов, привыкший говорить людям в лицо все, что о них думает, рассказал собравшимся товарищам, как именно он оценивает их, так сказать, творчество и вообще реалистическую, с позволения сказать, литературу Азербайджанской Советской Социалистической Республики.

Естественно, что в Союз Генриха Сауловича не приняли, да и вообще о личности Альтова у местных писателей-профессионалов после того случая мнение сложилось вполне однозначное.

На заседании Комиссии Генрих Саулович рассказывал об этой истории с присущим ему юмором, но понятно было, что врагов он себе своим поступком нажил немало. Впрочем, врагов у Альтова уже в те годы было достаточно – не столько среди писателей, сколько среди союзных начальников, ведавших проблемами изобретательства.

Когда первый сборник бакинских фантастов был уже готов к сдаче в издательство «Азернешр», выяснилось обстоятельство, вполне типичное для нашей восточной республики. Изначально было понятно, что без включения кого-нибудь из «национальных» авторов обойтись невозможно. Как наименьшее зло был взят рассказ Эмина Махмудова, переведенный, а точнее написанный заново Рафаилом Бахتامовым – в то время автором нескольких увлекательных научно-популярных книг (например, «Изгнание шестикрылого серафима»). Махмудов регулярно приходил на заседания, в общении это был приятный и тихий человек, ни у кого голос не поднимался сказать ему, что рассказы его – чистая графомания...

Надеялись, что рассказом Эмина Махмудова дело ограничится, но когда книга была уже сдана в производство, выяснилось, что писательское начальство включило в состав сборника научно-фантастическую пьесу некоего Новруза Гянджали «Сокровища сгоревшей планеты».

– Это кошмар! – сказал Евгений Львович, ознакомившись с рукописью. – Такого я еще не читал. К тому же, пьеса боль-

шая, сборник увеличится на треть, если бы нам дали этот объем, сколько хороших вещей можно было бы опубликовать! Но ничего не поделаешь. Новруз – чей-то родственник, из верхов, пьеса уже включена в сборник без нашего ведома. Единственное, что мы можем – вообще отказаться от издания.

По мнению Альтова, так и нужно было бы поступить. Что за самоуправство, в конце концов! Комиссия потратила месяцы, тщательно отбирая произведения, чтобы первый блин не вышел комом, а тут... Но возобладало мнение большинства – Бог с ней, с пьесой, нужно, чтобы сборник все-таки вышел из печати.

И сборник вышел – на серой бумаге, с изображением на обложке какой-то непонятной кляксы, которая, по мысли художника, должна была, видимо, изображать инопланетянина. Во всяком случае, принять кляксу за человеческое лицо можно было лишь при очень больном воображении.

Но не полиграфическое убожество стало основным недостатком. В книге было немало опечаток, главная из которых оказалась на странице оглавления, где значился опус Гянджали. Вместо слова «пьеса» было написано кратко и энергично: «пьса».

СОДЕРЖАНИЕ

К. Бодуновский, М. Лукодянов — Формула полноточности. Научно-фантастическая повесть	3
Э. Маслуфти — Дикарьство на обложке (Перевод Р. Бах-тамова)	44
Фенюмен. (Перевод И. Лукодянова)	49
М. Ибрагимбеков — Исчезновение Стюда Брайта.	58
Р. Нахтович — Превик в высоту.	68
Открытие.	76
В. Журалова — Буря.	104
И. Милеким — Иду к тебе.	119
В. Антонов — Двенадцатая машина.	122
Г. Аалто — Метина открытий.	131
Н. Ганджали — Сопровожда старейшей планеты Пьса. (Перевод Г. Палжарова и С. Соложенковой)	143

– И действительно пьса! – издевались все, кто брал сборник в руки. – Все правильно, это вовсе не опечатка, а самооценка автора!

Не знаю, что думал о своем творении Гянджали – на Комиссии он ни разу не появился, может, потому, что знал, как его разнесут фантасты, а может, просто считал обсуждение ниже собственного достоинства. Второе более вероятно.

Если бы не злосчастная «пьса», содержание которой невозможно пересказать, будучи в здавом уме, сборник, возможно, получил бы хорошую критику – опубликованные в нем рассказы были вполне на уровне тогдашней фантастики, даже пересказанный Бахتامовым рассказ Махмудова не очень портил картины. Но «пьса»...

Вот один из эпизодов: второй акт, сцена представляет собой рубку звездолета, множество приборов, перед которыми сидят герои-звездолетчики. Они в панике: приборы не работают, никто не знает, куда они летят и что с ними будет. Далее следует авторская ремарка: «Он дергает прибор за ручку, звездолет содрогается, стрелки скачут».

«Заработали! – кричит главный герой. – Приборы заработали!»

Представляете картину? Звездолет содрогается из-за того, что включились приборы...

Некоторое время спустя в столичной «Комсомольской правде» появилась статья Дмитрия Биленкина о советской фантастике «Не дергайте ручку приборов!» И в качестве примера бездарной фантастики, авторы которой решительно не понимают того, о чем пишут, была взята пресловутая «пьса». Естественно, под горячую руку и всему сборнику досталось.

В общем, первый блин действительно оказался комом – и никак не по вине Комиссии.

Конечно, занималась Комиссия не только этим злосчастливым сборником: обсуждали молодых авторов, проводили встречи с читателями, в газете «Молодежь Азербайджана»

объявили конкурс на лучший научно-фантастический рассказ.

Молодыми авторами считались Владимир Караханов, Илья Милькин, Борис Островский, Роман Леонидов, Павел Амнуэль. Караханов был офицером милиции и писал, в основном, детективы. На Комиссию он представил первую свою фантастическую повесть «Мое человечество» – об изобретении нового препарата для борьбы с онкологическими заболеваниями. Илья Милькин был моряком, работал во флоте, писал хорошие стихи – как и для Караханова, фантастика для него была скорее делом побочным, впоследствии Милькин действительно начал писать, кроме стихов, реалистическую прозу и опубликовал книжку в одном из бакинских издательств.

Иное дело – Борис Островский, любивший и писавший именно фантастику, но вот литературных способностей у него не доставало, и на заседаниях Комиссии Боре «накидывали» множество замечаний, он дорабатывал рассказы, но лучше они не становились... Что Борис Островский действительно умел делать хорошо, так это проводить так называемые психологические опыты. Это у него получалось не хуже, чем у самого Вольфа Мессинга – у Бори была повышенная чувствительность, он легко воспринимал (в том числе и с завязанными глазами) малейшие движения «реципиента» – так называемые идеомоторные акты. На публике Боря не выступал, но среди своих – членов Комиссии, в том числе – нередко демонстрировал «чудеса», перемежая их с откровенными фокусами, так что мы частенько путались: где тут «экстрасенсорика», а где чистый иллюзион аля Аругюн Акопян.

Время, кстати сказать, было «оттепельное» не только для фантастики, но и для всяких паранаук. Очень популярна в те дни была знаменитая Роза Кулешова, умевшая читать пальцами. Борис Островский продемонстрировал нам и эту свою

способность: с завязанными глазами, водя пальцами по строчкам, он читал любой текст и даже рассказывал о том, какие «видит» иллюстрации. Разумеется, это тоже был всего лишь фокус, умение так напрячь мышцы лица, что, когда Боре завязывали глаза, все равно оставалась возможность для подглядывания.

В Баку приезжали с лекциями парапсихологи, рассказывавшие о чудесах сверхвосприятия, и вряд ли у них были слушатели, настроенные более скептически, нежели авторы-фантасты. Альтов, будучи человеком во всем принципиальным, не терпел не только шарлатанов, но даже просто людей недобросовестных, пытавшихся сделать себе имя на интересе публики к неизведанному. Однажды в дискуссии с одним из заезжих парапсихологов Альтов спросил, почему они не сумели до сих пор поставить опыта, который бы всех убедил.

«Для этого нужно оборудование, а у нас нет никакого финансирования», – пожаловался экстрасенс.

«А какое оборудование необходимо? – спросил Альтов. – Может, можно просто скинуться»...

Парапсихолог начал перечислять – и назвал, в числе прочего, километр тонкого провода.

«А провод-то зачем? – ехидно осведомился Альтов. – Вы же мысли на расстояние без проводов должны передавать!»

Впрочем, оттепель оказалась не такой уж долгой. В 1965 году, когда в московском сборнике «Фантастика» издательства «Молодая гвардия» Альтов опубликовал один из лучших своих рассказов «Порт Каменных Бурь», в газете «Известия» появилась разгромная статья академика В. Францева. Академик обрушился на фантаста за то, что тот в своем рассказе посмел задать от имени героя вопрос: «Что будет после коммунизма?» Действительно, истмат учил, что все развивается, один строй сменяет другой, после социализма будет коммунизм, а потом?

Задать такой вопрос для советского историка было ровно то же, что для космолога – подумать над проблемой: что было до Большого взрыва?

Альтову крепко досталось, и на заседании Комиссии статью из «Известий», конечно, обсудили – но тут уж досталось академику, благо в комнате были только «свои», и мнение у всех нас о том, что представляла собой советская историческая наука, было одинаковым, даже спора не получилось. Впрочем, обсуждение так и осталось в пределах кабинета секретаря СП – знал бы хозяин кабинета, какие крамольные речи о развитии советского строя произносились в его отсутствие...

Комиссия по НФ была органом официальным, поэтому каждый год мы составляли план нашей деятельности, и Евгений Львович то ли раз в квартал, то ли раз в год представлял в президиум СП отчет о проделанной работе (сколько проведено заседаний, сколько произведений обсуждено, сколько и где организовано встреч с читателями...). В планах был, например, конкурс НФ рассказов, и мы его провели, дав объявление в газете «Молодежь Азербайджана». Победителям было обещано, что их рассказы опубликуют в газете и даже выплатят гонорар – в качестве литературной премии.

Пришло около десятка пакетов с совершенно беспомощными текстами, среди которых читабельным оказался единственный рассказ, подписанный неким Юрием Грамбаевым. Это была небольшая юмореска о том, как на одной из радиообсерваторий обнаружили сигналы внеземной цивилизации. Их долго расшифровывали, а потом начали удивляться тому, что сообщал иной разум. Ерунда какая-то, кто какое платье надел на вечеринку, где можно прибарахлиться... И это – высокоразвитая цивилизация? Такие глупости она считает необходимым сообщить всей Галактике? Нет, – решает герой рассказа, – дело в том, что мы случайно попали на одну из многочисленных линий связи цивилиза-

ций. Все равно как если бы кто-то подключился к телефонной линии, по которой две подружки обсуждают, что надеть на вечеринку...

Этот рассказ – за неимением конкурентов – получил первое место и был опубликован в газете. А автора пригласили (объявив в той же газете, потому что иначе связаться с ним не было возможности – адреса своего автор не указал) на заседание комиссии. Каково же было удивление «комиссионеров», когда в комнату ввалились четверо студентов Азгосуниверситета и объявили, что они и есть Юрий Грамбаев.

– Вы писали рассказ вчетвером? – удивился Евгений Львович.

– Да! – от имени четверки заявил Юрий Сорокин, один из соавторов, студент-химик.

– Нет, – сказал вдруг Альтов. – Авторов на самом деле не четверо, а пятеро.

– Почему пятеро? – смутился Грамбаев всеми своими четырьмя физиономиями.

– Пятеро, – твердо сказал Альтов. – Пятый – присутствующий здесь член нашей Комиссии Павел Амнуэль. А потому результат конкурса должен быть аннулирован, поскольку члены Комиссии не имели право в нем участвовать.

– Почему вы думаете, что Павлик в этом участвовал? – удивился Евгений Львович.

– Мы-то не один его рассказ обсуждали! – воскликнул Генрих Саулович. – Разве стиль Амнуэля не виден в рассказе Грамбаева – вот в этом куске и в этом тоже?..

Пришлось сознаться – Грамбаев действительно был один не в четырех, а в пяти лицах. Четверо «грамбаевцев» были моими университетскими друзьями, с одним из них – Левой Бухом – мы вместе учились на физфаке и были членами команды КВН. Конечно, писали мы рассказ по частям, каждый – свою часть, но в конце я переписал рассказ, чтобы пестрота



Юрий Грамбаев за работой. Я за машинкой, рядом Юра Сорокин и Лёва Бух. Видна рука Марика Гринберга.

стилей не сильно ощущалась. Тут-то Альтов нас и подловил...

Конкурс был объявлен провалившимся, поскольку никто не представил достойного произведения.

Между тем, члены Комиссии время от времени встречались с читателями, обычно эти встречи проходили в малом зале кинотеатра «Вэтэн» («Родина»), зал был небольшой, на 80 мест, перед началом встречи показывали фантастический фильм – выбор по тем временам был невелик, только что на экраны вышла «Туманность Андромеды», была еще «Планта бурь» по повести А. Казанцева, их и крутили. Первые встречи были интересными – просто потому, что все было внове, – но достаточно быстро выродились, поскольку вопросы задавались каждый раз примерно одни и те же: о том, каковы творческие планы, и нужно ли фантастам опережать науку, и как фантастам удастся так хорошо придумывать то, чего нет...

Конечно, на такие встречи Комиссия являлась не в полном составе – обычно председательствовал Евгений Львович, а кроме него на вопросы отвечали Генрих Саулович Альтов и Исай Борисович Лукодянов, который любил находить ошибки в произведениях коллег и рассказывать почтенной публике, что фантасты далеко не всегда предсказывают правильно и даже не всегда хорошо знают то, что пишут. Вот, например, Алексей Толстой в «Аэлите», подсчитывая расстояние от Земли до Марса, неправильно сложил три числа – можете сами проверить...

Лукодянов умел находить ошибки, нелогичности, оплошности научно-технического характера в любом произведении – и уж, конечно, в тех текстах, что обсуждались на заседаниях Комиссии. Научные ошибки в фантастических произведениях не прощались никому – все писали так называемую «hard science fiction», хотя термина этого никто не знал. Доходило до курьезов, когда тщательная разработка научно-фантастической основы превращала рассказ в научно-популярную статью.

Когда весной 1965 года на Комиссии обсуждался мой рассказ «Все законы Вселенной» (носивший явственные следы жесткой альтовской правки), Рафаил Бахтамов начал свою речь словами:

– Эту статью я прочитал. Эта статья мне понравилась. Единственное, чего я не понял: почему под названием написано «рассказ».

Впрочем, когда три года спустя «Все законы Вселенной» были опубликованы в молодогвардейском сборнике «Фантастика-68», Рафаил Борисович был первым, кто поздравил меня с «выходом на всесоюзную орбиту».

– Хороший рассказ, – сказал он, забыв, должно быть, свое давнее определение.

В 1965 году Комиссия занималась формированием второго сборника бакинской фантастики, и один из «столпов»

местной литературы Максуд Ибрагимбеков, писавший отличные реалистические вещи, решил обратиться к фантастике, представив на суд Комиссии небольшую повесть «Крысы». После прочтения настроение у членов Комиссии было мрачноватым – сюжет давал к тому все основания. Не будь автором Максуд Ибрагимбеков, рукопись была бы, безусловно, отвергнута, но Максуд и его брат Рустам были далеко не последними людьми в СП, от их слова зависело многое... Не прими Комиссия повесть Максуда, могло получиться так, что второй сборник по тем или иным причинам не вышел бы вообще...

«Крысы» были включены в сборник без обсуждения. Удовлетворились тем, что, при всех своих недостатках, «Крысы» были шедевром по сравнению с печальной памяти «пьюсой»!

В 1966 году новый бакинский сборник «Эти удивительные звезды» (названный по рассказу Валентины Журавлевой) вышел из печати. Предисловие к книге написал известный библиограф фантастики Б. Ляпунов – о «Крысах» он сказал лишь, что в этой повести «фантастическая проблема своеобразно переплетена с изображением гнусностей буржуазного профессионального спорта».

В сборнике «Эти удивительные звезды» были опубликованы рассказы практически всех членов Комиссии, в том числе и мои первые рассказы, написанные в соавторстве с Романом Леонидовым. Генрих Альтов выступил в сборнике не только с замечательным рассказом «Опаляющий разум», но и со статьей «Перечитывая Уэллса», где проанализировал 86 научно-фантастических идей английского фантаста и показал, что почти все прогнозы Уэллса уже оправдались, и лишь немногие идеи можно отнести к «чистой фантастике» – например, идею о машине времени.

«Эти удивительные звезды» вышли огромным даже по тем временам (тем более для республиканского издательства) тиражом 200 тысяч экземпляров, и это стало причиной полиграфического конфуза. Предполагалось, что книга выйдет

в суперобложке, на которой художник изобразил планеты и астероиды, летящие в космосе. Тираж сначала был запланирован не таким большим, и издательство закупило соответствующее количество бумаги для суперобложки. Когда тираж – в последний момент – увеличили в несколько раз, оказалось, что бумаги для супера не хватает. Что делать? Обсуждались – не в Комиссии, конечно, а в издательстве, мы ни о чем не догадывались вплоть до выхода книги из печати – два варианта: либо убрать супер вообще, либо... нарезать суперобложку на части и вклеить в книгу.

Принят был второй вариант (надо было использовать уже отпечатанную суперобложку!), и в результате возник странный монстр: в книгу оказался вклеен узкий листок, занимавший половину страницы. При желании можно было понять, что на листке изображены космические камни, падавшие на какую-то планету...

Второй бакинский сборник оказался все-таки лучше первого – и не только потому, что в нем не было произведений типа «псы». «Опаляющий разум» и статья об идеях Уэллса, написанные Генрихом Альтовым, «Нахалка» и «Эти удивительные звезды» Валентины Журавлевой, интересная повесть Евгения Войскунского и Исаия Лукодянова «И увидел остальное» (ни разу впоследствии не переиздававшаяся и не вошедшая в авторские сборники), научно-популярные очерки Рафаила Бахтамова «Дорога на океан» и «Две тысячи золотых пиастров» – это были добротные вещи, уж во всяком случае не хуже, чем произведения, публиковавшиеся в московских сборниках «Молодой гвардии».

В отличие от первого, второй бакинский сборник был благопринято принят критикой (правда, каждый, кто о сборнике писал, не забывал задать недоуменный вопрос: а что означает фиговый листок, вклеенный между страницами?), и сразу после выхода книги из печати Комиссия стала собирать третий сборник. Идея была в том, чтобы сделать сборники не только

регулярными, но ежегодными – и это была вполне осуществимая идея, рассказов и повестей в папке у Евгения Львовича накопилось за это время не на один приличный сборник.

Но... Комиссия предполагает, а Союз Писателей располагает. Третий сборник – «Полюс риска» – появился лишь четыре года спустя, в 1970 году.

За эти годы Комиссия провела – кроме, конечно, регулярных обсуждений, – одну масштабную акцию: опрос читателей фантастики. Идея опроса принадлежала Генриху Сауловичу. Осуществление, в значительной степени, тоже ему: Альтов составил анкету, включавшую десятка два вопросов, обращенных к читателям фантастики – какой из поджанров они предпочитают (приводился список), каких авторов (список включал все известные фамилии), нужен ли журнал фантастики, возможна ли фантастика без фантастических идей и так далее. Каждый из вопросов предусматривал несколько вариантов конкретных ответов – нужно было только подчеркнуть нужный.

Анкета содержала список из нескольких десятков книг советских писателей-фантастов – читатели должны были поставить около названия книги крестик, если книга понравилась, или минус, если не понравилась. Чтобы получить количественные оценки, Альтов придумал формулу: из числа плюсов вычиталось число минусов, а затем результат нужно было поделить на число читателей. Книгу, которую никто не читал, естественно, из рассмотрения исключали – нельзя ведь делить на нуль!

А для того, чтобы оценить «уровень шума» – иными словами, помнят ли читатели то, что читают, – Альтов предложил включить в список «контрольную книгу»: автора и название, не существующие в природе. Так появились «Долгие сумерки Марса» некоего Н. Яковлева – действительно, название и фамилия достаточно типичные. Если читатель «проглатывает» книги, не очень задумываясь над содержа-

нием, то вполне может и Яковлева «вспомнить»...

Из-за Яковлева и разгорелся скандал, когда результаты анкетирования были опубликованы. Но это произошло потом, а сначала члены Комиссии отнеслись к опросу с большим энтузиазмом и для начала, конечно, сами ответили на все вопросы. За давностью лет я уже не помню этого частного результата. Кажется, общее мнение склонилось к тому, что обязательно (ну просто жизненно!) необходим всесоюзный журнал фантастики, причем не один, а минимум два: один журнал – это частное мнение редколлегии, единообразие, отсутствие новизны. Два журнала – конкуренция (точнее говоря – социалистическое соревнование, какая еще конкуренция при советской власти?), разнообразие мнений, поиск новых идей. То что было нужно для советской фантастики, еще не начавшей погружаться в болото застоя.

На ротапринте анкету размножили в количестве нескольких тысяч экземпляров (это тоже было проблемой в те годы – современной множительной техники не существовало, и надо было даже на текст анкеты получить разрешение Главлита, ведь речь шла о тиражировании!). Для начала анкету начали раздавать во время встреч с читателями, потом распространили среди знакомых – любителей фантастики и писателей-фантастов. Сотни анкет переслали в Москву, там в опросе приняли участие школьники из единственного тогда в Союзе Клуба любителей фантастики при Доме детской книги.

Несколько месяцев спустя дома у Альтова штабелем лежали заполненные анкеты, и мы переносили на отдельный лист крестики и черточки, считали и пересчитывали... Наконец, стало ясно, во-первых, что читатели не отдадут предпочтения ни одному из поджанров фантастики. «Фантастика нужна всякая, – был сделан вывод. – Социальная вовсе не имеет преимущества перед научно-технической. У каждого поджанра есть свой читатель, и критики не должны говорить: такая-то фантастика со-

ветскому человеку нужна, а такая-то нет».

И еще: многие авторы, считающиеся популярными, пишут произведения, вовсе не запоминающиеся. Не то чтобы их книги не любили, но просто не запоминали напрочь! Дело в том, что неожиданно для всех несуществующий Н. Яковлев с его «Долгими сумерками Марса» оказался не в конце списка, как следовало бы ожидать, а в самой середине, получив плюсов больше, чем минусов! Число людей, «прочитавших» это эпохальное произведение, оказалось больше, чем тех, кто читал, скажем, считавшуюся классикой жанра «Планету бурь» Александра Казанцева!

Ниже Яковлева в списке оказались не только Казанцев, Немцов и другие авторы фантастики ближнего прицела (это было естественно, время «Последнего полустанка» миновало), но и кое-кто из авторов, много издававшихся в середине шестидесятых. Я сейчас не помню конкретных фамилий, да это и не столь важно. Когда результаты анкетирования были опубликованы в одной из газет, обиженными посчитали себя все писатели-фантасты, оказавшиеся ниже «уровня шума». Обижались почему-то не на себя – не смогли они написать запоминающихся произведений! – а на Комиссию и особенно на Генриха Сауловича, как на зачинателя и вдохновителя всего этого «гнусного мероприятия».

Альтову было не привыкать. Незадолго до этого он уже получил немало шишек, когда в течение двух лет руководимые им ребята из Клуба любителей фантастики при московском Доме детской книги присуждали по итогам года премию за худшее произведение научной фантастики. Премия называлась «Гриадным крокодилом» (по печальной памяти «Гриаде» А. Колпакова – нам казалось, что ничего хуже в фантастике написать просто невозможно). Первый «Гриадный крокодил» был присужден книге М. Емцева и Е. Парнова «Падение сверхновой», второго «крокодила» получил А. Полещук за роман «Ошибка инженера Алексеева».

На «Гриадного крокодила» смертельно обиделись не только «лауреаты», но и вся элита фантастов – ведь никто не мог гарантировать, что не окажется следующим!

А тут еще анкета... Эти провокаторы из бакинской Комиссии...

Больше подобной деятельностью Комиссия не занималась. Первый опыт оказался последним.

Работа над анкетой не прервала, конечно, текущих дел – обсуждение новых научно-фантастических произведений. Один-единственный раз Комиссия, впрочем, изменила своему назначению, когда на обсуждение была вынесена наша с Леонидовым историческая повесть «Суд». Впрочем, повесть эту можно было назвать и фантастико-исторической, хотя традиционно фантастических элементов в «Суде» не было: речь шла об интерпретации известных историкам фактов.

Цитирую по воспоминаниям Валентины Николаевны Журавлевой (*Фонд-Архив Генриха Альтшуллера, выпуск 2*):

«Повесть была хорошо написана, оригинальна по сюжету, наглядно рассказывает об изобретательстве в технике искусства и за пределами техники вообще. Но авторы в течение 7 лет не могли ее напечатать. Получали замечания типа: “нужно притушить прямые аналогии с историческими событиями не столь отдаленными”. Эти аналогии были несколько притушены, после чего редакция попросила изменить название: “Суд” звучит слишком в лоб. Повесть была переименована в “Сфинкс”, но и после этого был получен отказ.

Может быть, повесть не была написана, если бы...

Г. Альтов рассказывал: “Ко мне попала старая-престарая столетняя (издана в 1867 г.) книга Карла Оппеля “Чудеса древней страны пирамид”. Книга интересная, особенно глава “Сын Солнца умер” (стр.90-97). Речь в этой главе шла, в сущности, о социально-изобретательской задаче. Фараон должен иметь неограниченную бесконтрольную власть, чтобы эффективно

управлять большим государством (в тех исторических условиях авторитарное управление было самой компактной и действенной формой правления), и фараон должен находиться под полным контролем народа, чтобы управлять без безобразий и преступлений (при Иване Грозном, например, не разрешили это противоречие). В Древнем Египте противоречие было устранено разделением противоречивых требований во времени: при жизни любое (в том числе преступное) поведение фараона выполнялось беспрекословно, но после смерти народ судил своего владыку. И если хотя бы один человек предъявлял претензии и не прощал вину фараону – царь приговаривался к высшему наказанию: ему отказывали в погребении. А без погребения душа, по верованиям, была обречена на вечные муки... Мумию непогребенного фараона устанавливали – в назидание – в доме “наказанного”, чтобы она была вечной укоризной наследникам. Блестящее социальное изобретение, делающее культ личности безвредным! Правда, изобретение это пригодно



только в далекую эпоху, когда господствовала искренняя вера в религиозные установления...

Я дал Амнуэлю и Леониду книгу Оппеля, посоветовал написать “фантастику про суд над фараоном”. Они написали “Суд”. [] Повесть они написали удачную. Но наступала эпоха застоя, перестраховщики боялись даже упоминания о культе... фараона. Рукопись долго ходила по редакциям и издательствам. Наступила эпоха

перестройки, “Суд” снова попал в “Искатель”, докт. ист. наук Можейко (он же фантаст К. Булычев) дал положительную рецензию. Издательство приняло решение – напечатать повесть».

Действительно, история «Суда» сложилась именно так, а в 1968 году, когда повесть была представлена Комиссии, вывод был единодушным: хорошо, но – непроходняк. Это было ясно всем членам Комиссии, кроме... авторов, которые упорно в течение нескольких лет продолжали посылать рукопись в разные журналы.

Известный писатель Максуд Ибрагимбеков решил в те годы опять обратиться к фантастике и представил на суд Комиссии рассказ, который ничего, кроме нездорового смеха, вызвать не мог. Речь шла о том, что инопланетяне прибыли незамеченными на Землю и решили уничтожить человечество. Способ они выбрали поистине уникальный. Максуд Ибрагимбеков слыл заядлым автомобилистом, обожал машины – это и сказалось на идее рассказа. Итак, что сделали инопланетяне для приведения в исполнение своего плана? Они открыли на Земле множество автомобильных заводов и начали выпускать сверхдешевые автомобили. Через какое-то время автомобиль был практически у каждого человека на планете – начиная от младенцев и кончая парализованными стариками. Разумеется, у каждого была своя модификация, сделанная лично для него. Представляете размах деятельности? Когда ВСЕ население земного шара были автомобилизировано, пришельцы нажали где-то на какую-то кнопку, и в тот же момент каждый автомобиль убил своего владельца. Так исчезла земная цивилизация...

Ибрагимбеков пришел на обсуждение – он был уверен, что рассказ его хорош, и надеялся услышать похвалы в свой адрес. Речь, которую произнес Альтов, я не запомнил, поскольку следил за выражением лица Максуда – сначала оно было спокойным, потом обиженным, потом возмущенным, и в конце

концов автор просто впал в бешенство. Тут еще и другие члены Комиссии добавили – не так, впрочем, ехидно, как Альтов...

В результате наши отношения с местным Союзом писателей были основательно подпорчены, если не сказать больше. Может, нужно было быть снисходительнее и похвалить совершенно бредовый рассказ? Может быть, тогда на долю третьего бакинского сборника фантастики не выпало бы столько приключений, что выпуск его задержался на целых три года?

Сборник «Полюс риска» был готов к сдаче в издательство еще в 1967 году. Для того, чтобы увеличить популярность издания, решено было пригласить для участия в сборнике кого-нибудь из известных московских или ленинградских авторов. На приглашение откликнулись Владимир Фирсов и Георгий Гуревич. Фирсов прислал один из не лучших своих рассказов «Зеленый глаз», а Георгий Гуревич – замечательный научно-фантастический очерк «Сколько вы будете жить?» Идеи этого очерка до сих пор не только не утратили актуальности – напротив, последние достижения биологии вообще и геронтологии, в частности, показывают, что рассуждения Гуревича о причинах старения и о том, как продлить жизнь человека, были совершенно правильными! К сожалению, научно-фантастические очерки Георгия Гуревича стали историей советской фантастики – ни разу они не переиздавались, хотя наверняка были бы интересны и современному читателю, вовсе не избалованному новыми фантастическими идеями...

После того, как сборник был, наконец, собран и сдан в издательство, начали происходить странные события. Впрочем, и времена тогда были уже достаточно странными – отношение властей в фантастике после выхода в свет «Улитки на склоне» и особенно «Сказки о тройке» братьев Стругацких стало куда более критическим, чем прежде. Разумеется, “на местах” события, происходившие в Москве и Ленинграде,

находили свое отражение – чаще всего гротескное, когда местное руководство, отслеживая столичные новости, старалось быть «святое папы Римского» и находило крамолу даже в совершенно невинных произведениях.

С другой стороны, местные зубры от Главлита зачастую не очень понимали, что является крамолы, а что – нет. Что нужно запретить, а что можно оставить. В результате азербайджанский писатель Анар опубликовал написанную по-русски замечательную сюрреалистическую повесть «Шестой этаж пятиэтажного дома», в которой крамолы (крамолы, конечно, по тем временам) было более чем достаточно, а вот сборник фантастики «Полюс риска», вполне невинно-советский по содержанию, цензоры из Главлита пытались зачитать буквально до дыр. Несколько раз рукопись сборника возвращали вообще без объяснения причин. «Нельзя!» – и все. Что именно нельзя? Почему? Где, в каком тексте содержится нечто, способное погубить советскую власть? Молчание.

Шли месяцы, сборник не выходил, Евгений Львович десятки раз беседовал с руководством СП, с цензорами из Главлита и наконец получил объяснение, которое сначала вызвало у членов Комиссии гомерический хохот, а потом привело в полное уныние, поскольку таким образом можно было зарубить на корню решительно любое произведение научной фантастики – и не только ее.

«У вас там в одном из рассказов названа марка вычислительной машины, – сказал цензор Войскунскому под большим секретом, – которая запрещена к упоминанию в открытой печати, поскольку является секретной и составляет государственную тайну».

«Какая марка?» – удивился Войскунский.

«Не могу сказать, – покачал головой цензор, – она же запрещена к упоминанию!»

Впрочем, выяснить это не составило большого труда –

оказалось, что во всем сборнике марка вычислительной машины упоминалась всего один раз – в «Испытательном полете» Е. Войскунского и И. Лукодянова (это был отрывок из их романа «Плеск звездных морей»). Недолго думая, авторы название вычислительной машины из текста убрали, и рукопись – после почти полутора лет мытарств! – вновь отправилась в Главлит. На этот раз цензоры сочли, что фантастам не удалось разгласить ни одной государственной тайны, и на первой странице рукописи появилась наконец печать «Разрешено к публикации».

Сборник «Полюс риска» вышел в 1970 году. Время уже изменилось, изменились и тиражи. «Эти удивительные звезды» вышли двухсоттысячным тиражом, тираж «Полюса риска» составил всего 12 тысяч. Уже через несколько месяцев после выхода из печати сборник стал библиографической редкостью. Впрочем, он и издан был так плохо, что стыдно было поставить его на полку рядом с аккуратными и цветными изданиями фантастики «Детгиза» и «Молодой гвардии». Серая бумага, на обложке почему-то – знак параграфа, будто книга была не фантастикой, а сборником законодательных актов... И еще изображение половины лица без рта и с одним подслеповатым глазом... Да и содержание книги оказалось весьма, мягко говоря, разнообразным по уровню. Я уже упоминал уникальный по идее рассказ Ибрагимбекова «Занятое место». Не улучшали сборник три рассказа Махмудова, да и «Полюс риска» Бахтамова, давший книге название, был вялым и не прибавлял популярности автору.

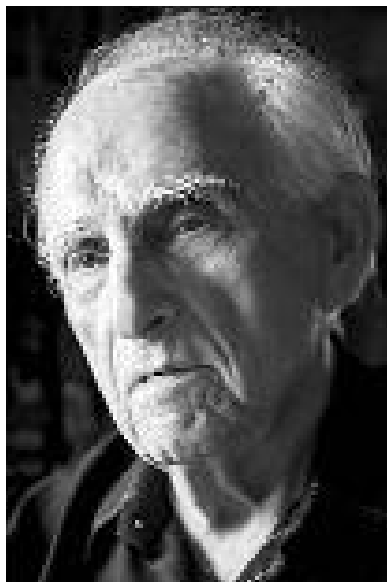
С другой стороны, в сборник были включены очерки Г. Гуревича о том, сколько будет жить человек, и Г. Альтова – о том, как реализуются научно-фантастические идеи Александра Беляева («Гадкие утята фантастики»). Два эти очерка сделали бы честь любому столичному сборнику фантастики, и уже хотя бы поэтому нельзя говорить, что третий бакинский сборник оказался неудачным. Нормальный был сбор-

ник – со своими плюсами и минусами.

Мог бы быть и четвертый, но... В начале семидесятых годов Комиссия по научной фантастике при СП Азербайджана прекратила свое существование. Не то чтобы нас кто-то прикрыл и не то чтобы руководство СП было недовольно деятельностью Комиссии. Причины распада оказались скорее внутренними, чем внешними. Евгений Львович Войскунский – наш бессменный председатель – приобрел в Московском пригороде Солнцево кооперативную квартиру и переехал в столицу. Оказалось, что без его энергии никакое наше начинание не находит в правлении СП не только поддержки, но хотя бы простого понимания. Оказалось, что отношения между членами Комиссии, если их не цементировать все той же энергией и способностью Войскунского находить компромиссные решения, тоже оставляли желать лучшего...

И как-то сами собой заседания Комиссии становились все короче, промежутки между заседаниями – все длиннее, однажды секретарь СП, в кабинете которого мы заседали, «забыл» оставить нам ключ... Я уже не помню сейчас, когда именно Комиссия собралась в последний раз. Это было в начале семидесятых – то ли в 1970 году, то ли в 1971-м.

Начались времена застоя, и бакинский центр научной фантастики растворился в сумраке дней... После переезда в Мо-



Е.Л. Войскунский в 2011 г.

скую Евгений Львович Войскунский написал с Исаем Борисовичем Лукодяновым не так уж много хорошей фантастики. Во всяком случае, последние их фантастические вещи не шли в сравнение с замечательным «Экипажем “Меконга”», а в восьмидесятых, после смерти Исаея Борисовича, Евгений Львович окончательно перешел на реалистическую прозу. Не писал больше фантастику Рафаил Бахтамов – после критической оценки членами Комиссии «Полюсом риска» понял, видимо, что его призвание: популяризация науки, научная журналистика. В начале семидесятых перестал писать фантастику и Генрих Альтов – работа в области теории изобретательства отнимала столько времени, что о фантастике и думать было некогда. Последним произведением Альтова в фантастике стала незаконченная повесть «Третье тысячелетие», вошедшая в 1974 году в один из альманахов НФ издательства «Знание». Не осталось времени на фантастику и у Валентины Журавлевой – жены и соратника Генриха Сауловича, она вела практически всю его внушительную переписку с сотнями инженеров и изобретателей, всю документацию по теории изобретательства, Генрих Саулович и Валентина Николаевна вдвоем работали, как большой научно-исследовательский институт, до фантастики ли было...

А «молодые» – Островский, Леонидов, Милькин, Караханов? У каждого в литературе сложилась (или не сложилась) своя судьба. Борис Островский, опубликовав единственный рассказ в сборнике «Эти удивительные звезды», занялся делом, которое и было его призванием – психиатрией. Владимир Караханов опубликовал в московских издательствах несколько детективных книг, основанных на собственном опыте работника милиции. Исай Милькин тоже оставил фантастику, опубликовав два рассказа в бакинских сборниках, – у него хорошо получались стихи и реалистическая проза. Роман Леонидов переехал из Баку сначала в Краснодар, а

потом в Астрахань, где преподавал в консерватории. В конце восьмидесятых он опубликовал в одном из альманахов фантастики издательства «Знание» повесть «Шесть бумажных крестов», написанную еще в годы, когда Леонидов жил в Баку и участвовал в работе Комиссии.

Комиссия работу прекратила, но авторы остались. Осталась фантастика.

Часть 7

**ИЗБРАННЫЕ МЕСТА
ИЗ ПЕРЕПИСКИ
С РЕДАКТОРАМИ**

Чего-то мне не хватает в современном издательском процессе. Раньше, лет тридцать еще назад, как бывало? Аккуратно отпечатываешь рукопись в четырех экземплярах, первый (неприменно первый, чтобы редактор не подумал, что не ему одному послано!) запечатываешь в пакет, идешь на почту, стоишь в очереди... А потом с трепетом душевным, переходящим в состояние легкой депрессии, ждешь месяц, другой, третий... И вот он, заветный конверт из редакции. Вскрываешь его дрожащими руками, достаешь несколько листков и читаешь – письмо редактора и обоснованную (с точки зрения литсотрудника) рецензию.

Что-то в этом было. Ощущения эти – конверт, листки, отпечатанные на машинке, подпись редактора – до сих пор помню, причем куда более ясно, четко и детально, чем свои же ощущения от первой журнальной публикации, первой книжки, первого автографа, который я дал... кому?

Помню письмо, полученное из редакции журнала «Знание-сила», куда мы с моим другом Романом Леонидовым отправили в 1964 году небольшую фантастическую юмореску «Несколько поправок к Платону». Ответ пришел от редактора отдела фантастики Романа Подольного – вполне благожелательный, что-то вроде: «Ну-ну, неплохо; длинновато, впрочем, поэтому опубликовать не можем». Точную формулировку отказа я уже не помню, письмо не сохранилось, но письма с аналогичным поводом (или причиной?) я впоследствии получал неоднократно. «Слишком длинно» говорили и

о повести в два авторских листа, и о рассказе в две страницы. Скорее всего, редактору было недосуг разбирать действительные недостатки (или объяснять истинные причины отказа, которые, бывало, к литературе не имели ни малейшего отношения), а что-то нужно автору написать...

В середине шестидесятых у меня в записной книжке было около десятка неопубликованных рассказов. В 1967 году Г. Альтов сказал: «Почему тебе не предложить книжку в “Азернешр”? В Москве много авторов, а журналов и издательств, печатающих фантастику, мало. Попробуй в Баку».

«Азернешр» – Бакинское издательство, выпускавшее, в основном, литературу на азербайджанском языке, но там к тому времени вышли и два сборника фантастики на русском, составленные членами нашей Комиссии (в один из сборников был включен и отклоненный Р. Подольным рассказ «Несколько поправок к Платону»).

Ответ из издательства, подписанный главным редактором, пришел примерно через полгода – срок по тем временам вполне приемлемый. Это было замечательное письмо, его имело смысл вставить в рамочку и повесить на стенку. Жаль, что оно не сохранилось. Я помню смысл написанного, но не могу сейчас передать поистине уникальный стиль послания, над которым в свое время потешались на заседании Комиссии по фантастике. Смеялись над стилем, а не над содержанием – в публикации книги было отказано. Я и сейчас не знаю истинной причины. Помню, что было написано по поводу рассказа «Далекая песня Арктика», содержавшего новую по тем временам научно-фантастическую идею о том, что звезды способны генерировать в космическом пространстве звуковые колебания, и этот звук можно услышать, а точнее – увидеть в спектрах звездного излучения.

«Может, звезды и поют, – сказано было в рецензии, – что-то мы действительно такое читали в популярной литературе, но автор не смог выразить это через жизнь нашего совре-

менника, через трудовые будни работника народного хозяйства».

Действительно, о трудовых буднях современника в рассказе не было ни слова...

Приключения «Далекой песни Арктура» на этом не закончились. В журнале «Искатель» рецензию написал корифей советской фантастики А.П. Казанцев. «Хороший рассказ, – писал он, – только немного длинноват, надо сократить». И даже цитировал в своем отзыве несколько, по его мнению, очень удачных литературных моментов. Казалось бы, после такого отзыва – да не напечатать! Но что-то происходило в редакциях, и рассказ в «Искателе» не опубликовали.

В «Уральском следопыте», куда я послал рассказ после отказа в «Искателе», редактором фантастики был Виталий Иванович Бугров, человек, прекрасно знавший и понимавший фантастическую литературу. «Хороший рассказ, – написал В. Бугров, – будем печатать, ждите журнал».

И я стал ждать. Полгода, год, полтора... Помня о печальном опыте с «Техникой-молодежи», я о себе не напоминал. Не печатают – значит, что-то тормозится в редакционном механизме...



В.И. Бугров

Через полтора года получаю от Бугрова письмо такого примерно содержания: «Понимаете... мне как-то неудобно об этом писать... но начальство... в общем, у Вас в рассказе фамилия одного из персонажей – Докшицер. Мне опять же неловко... но не могли бы Вы изменить эту фамилию на какую-нибудь другую... нейтральную...»

Всего-то... Не мог, видимо, человек с еврейской фамилией быть литературным героем. Полтора года В. Бугров, будучи человеком интеллигентным, собирался с силами, чтобы попросить автора изменить национальность персонажа.

Так Докшицер стал Синяевым, и рассказ вышел в следующем же номере, в феврале 1977 года. В Физтех евреев в те годы не принимали, но чтобы даже фамилий еврейских нельзя было упоминать... Может, и в «Искателе» рассказ не прошел по этой причине, о которой редактор так и не счел возможным сообщить автору?..

* * *

В 1968 году московское издательство «Молодая гвардия» опубликовало мой рассказ в сборнике «Фантастика», через год – еще один. В то время фантастикой в издательстве занимались редакторы, любившие этот вид литературы, прекрасно его знавшие и понимавшие: С.Н. Жемайтис, Б.Г. Клюева, С.Н. Михайлова...

В сборнике «Фантастика-72» должен был выйти третий мой «московский» рассказ «Странник», мне прислали на подпись корректуру, где было указано, что рассказ начинается с 125 страницы. Прошло еще полгода, книга вышла из печати, появилась на книжном развале, я взял ее, открыл на нужной странице... Моего рассказа не было.

Но это невозможно! В верстке «Странник» был, а после верстки никакие изменения не допускаются, разве уж совсем чрезвычайные! Что могло случиться?..

Разумеется, задавать такие вопросы в письме было бессмысленно. Дождавшись (прошло еще полгода!) служебной командировки в Москву, я пришел в издательство, и Светлана Николаевна Михайлова по секрету («Никому ни слова, иначе меня выгонят с работы!») сообщила, что уже после верстки сборник попался на глаза главному редактору издательства. Тот прочитал и заявил, что «Странника» нельзя

публиковать ни под каким видом, поскольку идея этого произведения в корне противоречит материалистическому мировоззрению и издательской политике, которая, естественно, совпадает с политикой партии и правительства.

Вот так, ни больше, ни меньше. Идея рассказа была в следующем: главный герой делал открытие, с помощью которого обретал способность не только находиться в космосе без скафандра, но и путешествовать между звездами без звездолетов. «К звездам – пешком», – такой была цель его жизни. Не знаю, почему партия в лице главного редактора настолько воспротивилась этой фантастической идее, что заставила переверстать всю книгу, а редакция фантастики наверняка по моей «вине» лишилась квартальной премии...

* * *

В начале семидесятых в Ленинграде стал выходить новый журнал «Аврора», в котором печатали не только реалистическую прозу, но и фантастику. Естественно, я послал туда несколько своих рассказов, ни один из которых опубликован не был. Письмо из редакции я долго хранил и время от времени перечитывал. Там было сказано, что «автор является последователем писателя-фантаста Г. Альтова, а наш журнал публикует фантастические произведения, написанные в стиле братьев Стругацких». Автор пишет не так, как Стругацкие, и следовательно...

Много лет спустя знакомый любитель фантастики, собиратель всех текстов, написанных братьями Стругацкими, к чему бы эти тексты ни относились, прислал мне копии внутренних рецензий, которые Аркадий Натанович Стругацкий писал в 1971 году для издательства «Детская литература». Речь шла о моих рассказах, и я узнал, что думал о них классик советской фантастики:

«"Путешественник за тюльпанами". Действие рассказа происходит в отдаленном коммунистическом будущем.

Мальчик Ким Яворский знакомится с новым учителем, основателем [зачеркнуто: науки] эрратологии – науки об ошибках и заблуждениях научно-изобретательской мысли. [зачеркнуто: Идея] Суть этой науки состоит, грубо говоря, в том, что диалектическое интегрирование достаточно большого количества неправильных, ошибочных представлений должно давать качественно новую по отношению к современному уровню технологии научную или техническую идею...

“Пик постоянства”. Существует некая планета Лигия со страшно нестабильной геологией. Материки и океаны с огромной быстротой меняются местами, прорывы подземных газов и магмы повсеместны, горные пики сменяются равнинами и снова возникают в течение нескольких суток. На этой планете есть разумная жизнь. Лигианцы в процессе [зачеркнуто: револю] эволюции научились интуитивно ощущать геологическую “погоду” на всей планете в любой момент времени и надолго вперед, поэтому спокойно мигрируют из одного безопасного участка на другой, не терпя никаких бедствий...

[зачеркнуто: Рассказы о] Оба рассказа очень интересны. Они написаны явно под влиянием Г. Альтова, его уникальной в мировой фантастике научно-философской методологии. Это рассказы, в которых автор пытается проследить (или представить себе) ход развития мысли научного таланта. О чисто литературной стороне [зачеркнуто: рассказов] этих произведений много говорить не приходится – в литературном отношении они на приличном среднем уровне. Но их хочется читать и перечитывать. Вдумчивому читателю, заинтересованному не сюжетными перипетиями, а анализом мысли человеческой, такие рассказы просто необходимы.

Я рекомендую эти два рассказа для опубликования в очередном выпуске “Мира приключений”».

А.Н. Стругацкому вовсе не помешало то, что «автор явля-

ется последователем писателя-фантаста Г. Альтова». Впрочем, несмотря на рекомендацию, эти рассказы в «Мире приключений» опубликованы не были. Как мне объяснили в издательстве, «места не хватило».

* * *

В 1968 году мы с моим другом Романом Леонидовым написали небольшую историческую повесть «Суд». Идею повести подсказал нам Г. Альтов, дав почитать изданную еще в дореволюционной России книгу немецкого египтолога Карля Оппеля «Тайны страны пирамид». Оппель очень увлекательно рассказывал о фараонах четвертой династии: Хуфу, Менкау-Ра, Хафре... О том, например, что в то далекое и вовсе не демократическое время каждый умерший египтянин (от простого крестьянина до фараона) подвергался суду – всякий желающий мог прийти на похороны и публично возложить на покойного какую-то не искупленную им при жизни вину. Если вина оказывалась серьезной, то в погребении отказывали, саркофаг с мумией вставляли в стену в доме, где жила семья покойного, да так там и оставляли – вечное напоминание о проступке или преступлении!

Понятно, что суд над мертвым вершили чаще всего, если умирал «простой» человек, а для фараонов эта процедура носила формальный характер. Но в случае фараона Хафры, которого на греческий лад называют Хефреном, все могло оказаться иначе. Мы обнаружили еще несколько интересных исторических фактов и построили на них сюжет повести – Хафру судил после его смерти народ Кемта и оставлял без погребения. Вот почему уже в наши дни ученые, вскрыв пирамиду, не обнаружили в ней саркофага с мумией усопшего владыки...

Повесть послали в «Искатель» и достаточно по тем временам быстро получили от редактора Олега Соколова письмо, в котором говорилось что-то вроде: «Ребята, хорошо

написали, но напечатать не можем – сами знаете почему».

Мы сделали вид, что не поняли намека, и попросили ответить прямым текстом. Отвечать редактор не стал – ни прямым текстом, ни косвенным, а когда я во время очередной командировки в Москву, явился в редакцию, О. Соколов прикрыл дверь кабинета и объяснил, наконец, ситуацию:

– Да вы что? У вас в каждой строчке намек на Сталина! Это нельзя. Линия сейчас такая, что да, были у Сталина кое-какие недостатки, но в целом это великий человек. Как ваш Хафра. Посмертный суд? Маска Сфинкса? Нет-нет...

– Но повесть-то хорошая, – продолжал Соколов в раздумье, – я действительно хотел ее напечатать... Что если для начала переименуем название? «Суд» – ни в коем случае. Назовите нейтрально – например, «Сфинкс».

Я не стал спорить – пусть будет «Сфинкс». Вернулся в Баку, почти уверенный в том, что на этот раз ответ из редакции окажется положительным. Но времена, видимо, наступили совсем другие. «К сожалению, – написал О. Соколов месяца через два, – ваша повесть не может быть опубликована в “Искателе”. Претензий к литературной стороне произведения у редакции нет, но повесть не соответствует профилю нашего издания».

Повесть, как мы потом убедились, не соответствовала профилю ни одного печатного издания в Советском Союзе. Мы стали посылать рукопись во все подряд редакции толстых и тонких журналов – от «Нового мира» до «Юности». Ответы, к счастью, приходили достаточно быстро, иначе эта процедура заняла бы лет сто. Но уже к концу 1970 года мы с Р. Леонидовым пребывали в полном убеждении, что о Сталине нельзя не только писать что-то критическое, но даже намекать на то, что в повести могут содержаться намеки...

Формально же ответы сводились к одной фразе: «К литературной форме претензий нет, но профиль не наш». У всех журналов вдруг появился один и тот же профиль...

Поскольку посылать повесть больше было просто некуда,

то мы положили рукопись в папку, папку – на антресоли и забыли о ней на долгие семнадцать лет. Даже когда началась перестройка, я вспомнил об этой повести далеко не сразу. Лишь в 1988 году достал покрытую пылью папку, перепечатал рукопись (не посылать же в редакцию желтые старые листы!), назвал повесть, как и было задумано, – «Суд», и отправил все в тот же «Искатель», предполагая пройти заново знакомый путь отказов.

Но времена действительно изменились! И редактор в «Искателе» был уже другой – Евгений Кузьмин, он отправил повесть на рецензию доктору исторических наук Игорю Можейко (которого любители фантастики знали под именем Кира Булычева) и получил на этот раз положительный отзыв, который и переслал мне с кратким сопроводительным письмом: «Повесть будет опубликована в первом номере за 1989 год». И. Можейко, естественно, прекрасно понял все содержащиеся в повести намеки и аллюзии. Более того, именно эти аллюзии и стали теперь главным достоинством «Суда»!

Хотя на самом-то деле это была историческая повесть о судьбе художника в тоталитарном обществе. Будь то древний Кемт, современный СССР или иная страна, во главе которой стоит тиран...

А год спустя «Суд» вышел в составе сборника антирелигиозных детективов «Брат Иуда». История тоже достаточно любопытная. Вскоре после публикации повести в «Искателе» я получил письмо-предложение от составителя сборника Сергея Белозерова. «Но ведь это будет сборник детективов, да еще и на антирелигиозную тему, – с недоумением ответил я. – Ни к детективному жанру, ни к антирелигиозной пропаганде “Суд” отношения не имеет». – «Да, – согласился Белозеров, – но повесть мне очень понравилась, а объяснение, почему она оказалась в таком сборнике, мы уж как-нибудь придумаем».

И придумал – при этом Белозеров очень точно сформули-

ровал в послесловии ту политическую идею, которая в нашей повести содержалась и из-за которой «Суд» двадцать лет не мог найти издателя. «...Не стоит причислять повесть ни к историческому, ни к детективному жанру, хотя элементы обоих в ней налицо. Это скорее притча, обязанная своим возникновением одному из самых трагических периодов недавней истории нашей страны»...

* * *

Первая книга для автора – как новое рождение. Второй шанс представился мне лишь через десять лет, и конечно, не в «Молодой гвардии», а в другом издательстве – «Знание». Там у меня уже вышли две научно-популярные брошюры, а в сборниках «НФ» – несколько повестей и рассказов, в том числе повесть «Крутизна», которую редактор Валентина Михайловна Климачева и решила сделать заглавной в будущей книжке. Редкий по тем временам случай – благожелательно настроенный редактор, никаких проблем с отбором рукописей (одно требование – не превышать объем в 10 авторских листов). И переписки, собственно, никакой...

До поры, до времени.

В середине 1983 года, когда в издательском плане «Крутизна» уже значилась, пришло письмо от В. Климачевой с неожиданной просьбой: «Нет ли у Вас какой-нибудь другой вещи, вместо “Крутизны”, которая могла бы стать главной и дать название книге?»

Что случилось? О «Крутизне» в самом издательстве я слышал только лестные слова, и, к тому же, повесть уже выходила в сборнике «НФ»! К счастью, опять подвернулась служебная командировка в Москву, и чуть ли не прямо из аэропорта я отправился на Старую площадь (там, напротив здания ЦК партии, в помещении Политехнического музея располагалась редакция «Знания»).

– «Крутизну» забодал главный, – объяснила Валентина

Михайловна. – Видите ли, идея повести не соответствует марксистско-ленинскому материалистическому мировоззрению.

Что-то такое я уже слышал о другой повести в другом издательстве от другого редактора... Дежа вю? Научно-фантастическая идея «Крутизны» действительно продолжала и развивала «непроходную» идею «Странника» (кстати, разруганный в «Молодой гвардии», этот рассказ несколько лет спустя без каких-либо изменений благополучно был опубликован в сборнике «НФ»).

– Может, поменять что-то в тексте, – начал я, – чтобы...

– Ничего не получится, главный сказал: ни в коем случае, и речи об этой повести быть не может!

– Хорошо, – смирился я. – Пусть вместо «Крутизны» пойдет «Сегодня, завтра и всегда». Там с материализмом вроде бы полный порядок.

Так и сделали, и первая моя книжка получила новое название.

– Да, вот еще, – продолжала Валентина Михайловна, – в книге есть рассказ «Через двадцать миллиардов лет после конца света».

Такой рассказ был – в каком-то смысле попытка полемики с известной повестью братьев Стругацких «За миллиард лет до конца



света», однако и без этой ассоциации название абсолютно точно определяло то, о чем в моем рассказе шла речь.

– Главный редактор говорит, что рассказ с таким названием у нас выйти не может. Какой конец света? Мы же научное издательство! Вселенная бесконечна и вечна! Рассказ надо переименовать. Давайте назовем «Двадцать миллиардов лет спустя». И смысл сохранился, и ассоциаций никаких.

– Кроме как с романом Дюма, – вздохнул я.

Название изменили, но это еще был не конец. Узнав, что автор в Москве, главный пригласил меня к себе, чтобы лично дать ценные наставления.

– В вашем рассказе, название которого вы изменили, – сказал он, перекладывая листы рукописи, – указаны конкретные марки машин: «Вольво», «Волга»... И названия улиц: Вторая парковая в Москве, Баннер-стрит в Вашингтоне... И страна указана – Соединенные Штаты. Этого нельзя.

– Почему? – удивился я.

– Не понимаете? – в свою очередь удивился главный. – У нас разрядка международной напряженности. А в вашем рассказе конкретно названы США, и понятно, что конфронтация происходит с СССР... Опубликуем мы этот рассказ, наши американские друзья могут обидеться, возникнут международные осложнения... Зачем нам это?

Честно говоря, я не нашелся, что ответить. Какие осложнения? Из-за фантастического рассказа? О чем он говорит-то?

– Вот и хорошо, – заключил главный, решив, что молчание – знак согласия. – Названия уберем, и все в порядке. Завтра подпишу книгу в печать.

Когда несколько месяцев спустя книга вышла, и я взял в руки пахнувший типографской краской сигнальный экземпляр, меня ожидало последнее потрясение. На обложке зна-

Часть 8

ЗАПАХ КУЛИС

К запаху привыкаешь быстро. К запаху нефти, например, который неуловимо растворен в Бакинском воздухе, и невозможно представить себе, что было когда-то время, когда здесь пахло иначе – жарким песком и верблюжьим потом. Бакинцы ощущают этот запах лишь тогда, когда возвращаются из отпуска и сходят по трапу с самолета в аэропорту Бина. Приезжие говорят, что Баку пахнет по-особому, как, возможно, никакой другой город. Наверно. По-особому пахнет и Израиль. В первые дни после приезда я не мог ходить по улицам, странный запах – пряный, сухой, яркий, шумный – забивал не только ноздри, но шуршал по коже, светил в глаза, рычал в уши. Хотелось спрятаться от этого запаха, погрузившись в другой, знакомый, который был неощутим дома и вспоминался теперь, как самое стойкое ощущение «той жизни».

Прошло время – не так много, несколько недель, – и я привык к новому запаху. Проснувшись однажды и не ощутив чего-то, что сопровождало меня все время после переезда, я не сразу понял, что исчез именно запах. А когда это дошло до моего сознания, возникло новое ощущение: теперь я дома. Когда перестаешь ощущать чужим воздух, которым дышишь, значит, ты дома, и это так же объективно, как жаркое солнце над головой и гортанные вопли торговцев на Иерусалимском базаре: «Шекель вахеци!»¹. Именно столько стоил в

¹ Полтора шекеля – ивр.

тот год, когда мы приехали, килограмм бананов. И килограмм помидоров. И килограмм персиков. И килограмм апельсинов. И вообще килограмм всего на свете стоил в тот год полтора шекеля.

После отъезда я ни разу не возвращался в родной город. Наверно, это плохо. Говорят, чтобы расстаться с ностальгией, нужно посетить место, где родился, и понять, что скорбеть не о чем – молодость прошла, а возраст не изменишь, вернувшись в то же пространство, хотя, если прав Эйнштейн, пространство и время неотделимы друг от друга. Но я знаю: если (или когда) мне доведется сойти по трапу в аэропорту Бина, то, как бы ни изменился сам аэропорт, как бы ни изменились люди, город, страна, все равно узнаваемый с первого вдоха бакинский запах остался тем же, каким был полвека назад.

Был, однако, в моей жизни еще один запах, который невозможно забыть – это тоже запах страны, в которой я жил, запах, который, в отличие от бакинского или израильского, можно, наверно, ощутить и в Москве, и в Петербурге, и в Пекине, и в Тель-Авиве.

Запах театральных кулис. Занавес. Декорации. Какая-то особая пыль. Бархат. Гипс, мрамор, дерево. И все вместе. Запах голосов в антракте, запах гаснущей люстры и взмаха дирижерской палочки. Не нужно уверять меня, что верхнее «ля», взятое тенором, не пахнет, как не может пахнуть движение тонкой палочки, рассекающей воздух в первом такте вердиевского «Отелло». Пахнет, господа!

Во всяком случае, именно с нового запаха начался для меня новый этап в жизни, когда мой друг Саша по прозвищу Тромбон, с которым мы учились в одном классе и жили на одной улице, сказал однажды: «Пибл, давай вечером пойдем в оперу».

– Куда? – удивился я.

Мы учились в седьмом классе, из музыки я предпочитал советские песни – «Черное море», «Марш нахимовцев»...

Почему нахимовцев? Не знаю, разве объяснишь, почему одна мелодия проходит мимо сознания, а другая застревает, и даже сейчас я помню каждый звук оркестрового вступления и каждое слово припева... Нет, «предпочитал» – не то слово. Другой музыки я и не знал в те годы. Дома у нас была «радиоточка», репродуктор, по которому иной музыки не передавали, разве что по праздникам можно было послушать концерт по заявкам и там – арию из оперетты. Наверно, и из оперы тоже, и отрывок из симфонии. Но запомнились мне только советские песни, только они «резонировали».

– В оперу, – повторил Тромбон. – Мы с Жирафом собрались Херлю послушать, идешь с нами?

Жирафом кликали еще одного нашего одноклассника Арифа Джафарова. Я знал, что время от времени они с Тромбоном действительно ходили в оперу, большое красивое здание на Торговой улице. Здание я знал хорошо, а внутри не был ни разу, да и не интересовался.

– Какой еще Херля? – удивился я. Фамилия показалась мне неприличной.

– Николае Херля, – объяснил Тромбон, – баритон из Румынии. Говорят, здорово поет. Пойдем, не пожалеешь.

Я точно знал, что пожалею, но почему не пойти за компанию?

Давали в тот вечер «Травиату», и я уже не помню – то ли Тромбон рассказал мне содержание оперы по дороге в театр, то ли я вычитал его из программки. Во всяком случае, когда на сцене появлялись новые персонажи, я не крутил головой, не толкал Тромбона в бок и не требовал объяснений. Помню собственное оцепенение. И странное ощущение, возникшее, правда, не сразу, а к концу первого акта – ощущение того, что это навсегда. В тот вечер я еще этого не понимал, просто чувствовал, как что-то изменилось во мне, и не мог пока дать определения. Но когда после каденции Виолетты (я не знал, конечно, что то, что она выпевала в конце арии, называлось

каденцией) тяжело закрылся занавес, и в зале вспыхнул свет, я продолжал смотреть на сцену – не на занавес и вышедших на поклон певцов, а именно на сцену, туда, где были декорации (обветшалые, как я потом понял) большого зала в парижской квартире знаменитой куртизанки Виолетты Валери.

– Ты что? – спросил меня Тромбон, сидевший справа, а сидевший слева Жираф пнул в бок и что-то тоже сказал или спросил: кажется, предложил подняться в буфет. Должно быть, я сидел с отсутствующим видом, потому что некоторое время спустя обнаружил вдруг, что друзей рядом нет, и вообще зал почти пуст, а в оркестре разговаривали друг с другом какие-то личности во фраках, которые не могли быть музыкантами, потому что... Ну, музыканты, извлекавшие из своих инструментов ТАКУЮ музыку, сами должны были быть существами не от мира сего. Ангелами... А где же их крылья?

В тот вечер я, конечно, не знал еще ни одной фамилии, понятия не имел, кто в нашей опере тенор, кто баритон, кто примадонна. Мне понравилось все: Альфред со звонким, но каким-то все же странноватым голосом, странность эту я ощутил, но еще не мог дать ей определения, и Виолетта была для меня хороша, просто изумительна, это впоследствии я начал замечать, как вибрирует ее голос на высоких нотах, как она «смазывает» пассажи, да и вообще обнаружил, что техника ее пения очень далека не только от идеальной, но даже от средней. Все это было потом, а в тот вечер я не слышал и не видел ничего, кроме музыки. Иногда говорят, что, если состав исполнителей не хорош, постарайтесь отрешиться от земных интерпретаций, слушайте музыку. Так и я, будучи совершенным неофитом, сумел каким-то образом отделить мысленно или, скорее, подсознательно, исполнителей от музыки – и слышал только Верди.

Вернулись из буфета Тромбон с Жирафом, погас свет, начался второй акт. Помню, после арии Альфреда я отбивал

себе ладони, начав хлопать раньше, чем певец закрыл рот. Возможно, на меня зашикали. Кажется, Тромбон пытался меня удержать. Я был в восторге – в антракте, кстати, я выучил фамилию исполнителя партии Альфреда, это был молодой тогда, недавно пришедший в театр певец Ибрагим Джафаров. Скажу о нем несколько слов позже, в тот вечер мне сказать было нечего, потому что я и не знал нужных слов, понимал только, что пел Джафаров прекрасно и был на сцене не чурбаном, как многие другие оперные артисты, а именно тем Альфредом, которого, безусловно, могла полюбить любая женщина, Виолетта не стала исключением. Джафаров легко пел, легко двигался, был в образе – может, если бы не он, мне и опера не понравилась бы с самого начала, не смотря на великую музыку, и тогда моя судьба оказалась бы немного другой.

А потом возник приезжий гастролер Николае Херля, вошел, высоко подняв голову и глядя свысока на вышедшую его встречать Виолетту. Раскрыл рот и... Я никогда не слышал такого пения, не представлял даже, что из человеческого горла могут литься звуки такой мощи и красоты. Голос Виолетты по сравнению с голосом Жоржа Жермона сразу стал каким-то писклявым, пустым... конечно, сопрано у певицы было не ахти какое, но в первом акте и оно произвело на меня впечатление. Но сейчас... Херля пел по-итальянски, но мне казалось, что я понимаю каждое слово. Когда он обратился к Виолетте со словами «Минует увлечение, тогда что с вами будет», мелодия стала физически ощутимой, я мог подержать ее в руках... Так мне казалось, а потом была удивительная, запомнившаяся мне сразу и навсегда мелодия гобоя в сцене письма Виолетты, это была музыка ангелов, что-то происходило со мной... А ведь была еще ария Жермона, которую я неожиданно для себя сразу узнал, потому что слышал ее много раз по радио, не зная, что это и откуда. Наверно, после этой арии Херле долго аплодировали, много раз вызывали...

но этого я совершенно не помню, видимо, мое нервное напряжение достигло максимума, и что происходило дальше, я сказать не могу. Сам не помню, а спросить у Тромбона или Жирафа мне не приходило в голову.

Фактом остается то, что после «Травиаты» мы стали ходить в оперу едва ли не на каждый спектакль «европейской» труппы, исполнявшей оперы русских и зарубежных композиторов. Была у нас в опере еще одна, будто бы независимая труппа – «местная», исполнявшая оперы азербайджанских композиторов. Азербайджанские оперы пели по-азербайджански, европейские – по-русски. И техника исполнения была разная. Невозможно (и нельзя) петь итальянские оперы так, как поют в «Кер-оглы» и «Шахе Исмаиле». Две труппы практически не пересекались, хотя были два-три певца, которые выступали как в азербайджанском, так и в европейском репертуаре. Помню две фамилии: Бадалбейли и Агаларов. Оба были баритонами – и неплохими (если не сравнивать с Херля). Бадалбейли прославился исполнением партии Кер-оглы в опере Гаджибекова, а какие партии пел в азербайджанском репертуаре Агаларов, я не помню. Проблема в те годы была в том, что в «европейской» труппе была катастрофическая нехватка баритонов (впрочем, и других певцов тоже было недостаточно), вот и пришлось Бадалбейли учить партию Яго в опере Верди «Отелло», а Агаларов какое-то время пел того самого Жермона, которого я впервые услышал в исполнении Херля, и потому я какое-то время не мог заставить себя ходить на «Травиату».

С обоими связаны истории, не имевшие прямого отношения к оперному творчеству, но, тем не менее, приведшие к тому, что оба певца перестали выступать – первый в европейском репертуаре, второй – вообще.

Когда, кажется, в конце 1959 года, в городе появились афиши, извещавшие о новой постановке вердиевской «Аиды», перед фамилией Буниятзаде, исполнявшего партию

Амонасро, значилось: «нар. артистка Азерб. ССР». Опечатка, естественно. Но Буниятзаде смертельно обиделся, певцы, как известно, народ ранимый, и петь отказался. Не знаю, в каких выражениях он объяснялся с руководством театра, не уверен, что именно злосчастная опечатка стала причиной того, что Буниятзаде никогда больше не пел в европейском репертуаре, или так просто совпало во времени. Тем не менее, больше я этого очень хорошего, в принципе, баритона не слышал, и давние мои впечатления о его голосе сводятся к воспоминанию о том, с каким блеском он исполнял в концертах и по радио застольную Кер-оглы из оперы Узеира Гаджибекова.

С Агаларовым же приключилась другая история. Дело было в конце 1960 года, когда происходила денежная реформа, и все старые деньги нужно было обменять на новые в пропорции 10 к 1. Один к одному меняли только мелочь: 1, 2 и 5 копеек. Говорили тогда, что многим каким-то образом удалось накопить огромное количество мелочи, и кое-кто приходил в банк с мешком денег, чтобы уйти с другим таким же мешком, став за час в десять раз богаче. Если такое и происходило, то, наверняка, «счастливец» интересовался «соответствующие органы». Не думаю, что при царивших тогда порядках кому-то действительно позволили таким образом обогатиться.

Агаларов, похоже, успел обогатиться до того, как началась реформа, и, видимо, богатства его, не знаю уж, сколько он денег накопил, нажиты были путем, с точки зрения советского законодательства, не очень законным. Нужно было нажитое обменять, а обменять можно было определенную, не помню сейчас какую именно, сумму. Предполагалось, видимо, что у советского человека не может быть на руках или на сберкнижке слишком много денег, и потому государство установило верхний предел суммы для каждого «физического лица». Агаларов попался на том, что пытался обменять

гораздо больше денег, чем было положено. Естественно, попал под колпак «соответствующих органов». То ли был арестован и судим, то ли его наказали иным способом – мало ли способов было в наличии у государства? – но на сцене оперного театра он больше не появлялся.

Но все это происходило потом, когда мы с Тромбоном ходили в оперу, как к себе домой, благо финансовые возможности нам, тогдашним школьникам, это позволяли. Билеты в оперу в те годы были достаточно дешевы – билет в первый ряд партера до реформы стоил, если мне память не изменяет, двадцать пять рублей (два с полтиной после 1961 года). Самый дешевый билет – на последний ряд амфитеатра – стоит три рубля до реформы и, соответственно, всего тридцать копеек – после. Имея на карманные расходы рубль в неделю, можно было позволить себе три раза посетить оперу (а больше трех представлений в неделю «европейская



Театр оперы и балета. Двадцатье годы XX века.

труппа» и не давала).

Зал в Бакинской опере, рассчитанный на 1200 человек, был, по моим представлениям, огромен. По конструкции он принципиально отличался от классических оперных залов, таких, как в Ла Скала или Большом театре. Ярусов не было, был довольно большой партер, окруженный ложами «бенуар», над которыми возвышались ложи бель-этажа. И все. А позади партера, начиная с уровня лож бель-этажа, начинался огромный амфитеатр, по конструкции примерно такой, какой впоследствии сделали в Москве, в зале Кремлевского Дворца Съездов. Наш амфитеатр, по-моему, по количеству мест был даже больше партера, а последние ряды находились так далеко от сцены, что певцы представлялись оттуда мошками, хор – скоплением мошкар, сцена – картиной на стене в музее, увидеть с последнего ряда выражение лица актера можно было лишь в морской бинокль, театральный приближал всего лишь до расстояния последнего ряда партера.

Зато акустика в театре была замечательной. Строил здание театра какой-то итальянский архитектор в 1912 году, и акустика для него, видимо, была важнее архитектурных излишеств. Слышно с последнего ряда амфитеатра было каждое слово, не пропадала ни одна нота, и лучше всего был слышен оркестр, что, кстати, создавало для дирижера определенные трудности, потому что ему нужно было сбалансировать звук таким образом, чтобы, с одной стороны, оркестр был нормально слышен в первых рядах партера, а, с другой стороны, не заглушал певцов для слушателей в последних рядах амфитеатра. И это было важно по той причине, что именно на галерке, как известно, и собираются самые верные ценители оперного искусства.

В нашей опере, однако, проблема эта была двойственной – на премьерах и спектаклях, где пели гастролеры (а в шестидесятых годах редкая неделя обходилась без приезжих солистов, в том числе мировых знаменитостей), зал бывал

полон, билеты в кассе быстро заканчивались, и нам, чтобы купить самые дешевые, нужно было не опоздать и явиться в кассу в тот же день, когда в городе появлялись афиши и начиналась продажа билетов. Достаточно было пропустить день-другой, и приходилось брать билеты уже не на последние, а на предпоследние ряды – то есть за рубль, что для нас, безденежных, было уже, конечно, обременительно. Кстати, на гастрольные спектакли самые дешевые билеты стоили не тридцать копеек, а тот самый рубль, и потому часто приходилось выпрашивать дополнительные деньги у родителей. У Тромбома с этим не было проблем, его отец хорошо зарабатывал, а для моих родителей лишний рубль из семейного бюджета означал отказ от чего-то другого – от лишнего килограмма фруктов, например. Тем не менее, я не помню случая, когда мне было бы отказано, и я не сумел бы попасть на премьеру или на гастрольный спектакль.

Итак, на премьере или на спектакле, где пела приезжая знаменитость, нам приходилось сидеть на галерке, откуда было гораздо ближе к буфету, чем к сцене. Но на спектаклях «обычных», проходных, которых все-таки было, конечно, большинство, мы «оттягивались» по полной программе, поскольку в огромном зале в такие вечера зрителей можно было легко пересчитать, причем бывало – что и на пальцах. Естественно, купив свои тридцатикопеечные билеты, мы садились в первый или второй ряд партера и наслаждались музыкой, хотя певцы на рядовых спектаклях, надо полагать, не особенно напрягались. Но ведь главное было не в том, как поют, а – что. Главное, для чего мы ходили в оперу, была любовь не к солистам, а к музыке Верди, Пуччини, Россини, Доницетти, Чайковского, Бизе. В результате я с детских лет научился слушать музыку, не обращая во многих случаях внимания на то, как эта музыка исполнена. Да, плохо. Да, тенор дал в арии петуха, баритон не взял высокую ноту, сопрано дребезжит, как стекло, когда мимо проезжает трамвай.

Ну и что? Все равно после спектакля мы шли по улице, распевая все партии, поскольку за несколько посещений успевали выучить на слух всю оперу.

Первыми моими операми, которые я таким образом выучил, не прилагая к тому никаких усилий, были, естественно, «Риголетто», «Травиата», «Севильский цирюльник», а потом, года через два-три, добавились «Отелло», «Трубадур», «Аида», «Паяцы», «Госка», «Кармен», «Пиковая дама», «Фауст». Как видно из названий, репертуарная политика в нашей опере не отличалась оригинальностью – ставили оперы самые известные, никаких экспериментов. Впрочем, пару раз дирекция все-таки пошла на эксперимент – не думаю, что по своей воле. Все-таки это был советский театр, и в репертуаре должна была быть хотя бы одна советская опера. Предполагаю, что руководство открещивалось от таких постановок и как-то объяснялось в министерстве культуры, потому что за все тридцать лет моей «дружбы» с Бакинской оперой только один раз на ее сцене была поставлена опера советского композитора. Честно говоря, я сейчас не помню ни автора, ни названия – кажется, это была опера Держинского «Судьба человека». Помню на сцене советских солдат, которые что-то пели, помню то ли женщин, то ли детей, которых они то ли спасали, то ли... Нет, спасали, конечно, но под какую музыку – не помню совершенно. Да и естественно – опера эта в репертуаре не удержалась, не уверен, что прошло хотя бы три представления, иначе какие-нибудь отрывки я бы точно запомнил... Кажется, даже на премьере не удалось в тот раз собрать полный зал, это я знаю точно, потому что мы со своими рублевыми билетами сидели если не на первом, то на третьем или четвертом ряду партера. Постановкой этой оперы театр отметил юбилей Дня победы – то ли двадцать пятый, то ли тридцатый...

Была еще одна советская опера, которую поставили в каком-то из семидесятых годов. Но можно ли назвать совет-

ской оперу Прокофьева «Обручение в монастыре»? А Прокофьева можно ли назвать советским композитором? Это был веселый, радостный, хорошо поставленный, с отличными декорациями, спектакль, но дело было уже на втором этапе моего «хождения в оперу», и отношение мое к музыке, певцам, постановкам было к тому времени уже куда более зрелым.

Мои походы в оперу можно разделить во времени на три периода. Первый – когда я учился в школе. Второй – университетский и до определенной степени обсерваторский, самый долгий период, от середины шестидесятых до начала восьмидесятых годов. И третий – после того, как оперный театр открылся после реставрации и пожара. Это был уже другой театр, и город в то время уже был другим, и мое отношение к музыке...

В конце пятидесятых – начале шестидесятых, когда мы с Тромбоном и Жирафом ходили в оперу минимум два в неделю, в театре пел прекрасный тенор Ибрагим Джафаров, о котором я уже говорил, но голос у него был скорее лирический, для драматических и героических партий, вроде Отелло или Манрико, не годился. Но какая же оперный театр без «Отелло», «Пиковой дамы», «Тоски»? Были в театре еще два тенора: Мехтиев и Алиев. Первый был единственным исполнителем Отелло, второй пел Радамеса, Германа, Каварадосси. О Мехтиеве рассказывать нечего, пел и пел, совсем не запомнился. А вот Гусейн Алиев был певцом совершенно незаурядным. Такого я никогда больше не слышал. Он спокойно брал любую ноту – верхнее «до» в стретте Манрико в «Трубадуре» никогда не становилось для него проблемой. И цены бы ему не было в любом театре, если бы не одно обстоятельство, которое и делало его голос уникальным. Когда он пел, впечатление было таким, будто голос идет из горла не наружу, а внутрь. А наружу попадают только какие-то остатки, эхо. Я не представляю, как такое возможно – он открывал рот, это все видели. И

звук кое-какой был слышен, но настолько придушенный, будто раздавался откуда-то из недр, из-под пластов земли. Странное впечатление. Алиева никогда не выпускали на сцену, если приезжал зарубежный гастролер петь, скажем, Яго или Амонасро. Тогда одновременно приглашали на гастроль тенора из Тбилиси – обычно приезжал Нодар Андгуладзе, очень сильный и красивый тенор, и спасал спектакли.

Но нам-то, постоянным посетителям, приходилось слушать и Алиева. Обычно на «рядовой» спектакль приходило человек пятьдесят. Как-то мы специально посчитали – на одном из спектаклей «Кармен» – сколько человек было в зале, а сколько в оркестре и на сцене. В зале – в разных концах, в том числе в амфитеатре – мы насчитали 43 зрителя. В оркестре – 40 музыкантов. На сцене – когда выходил хор – было тоже человек сорок. Зал выглядел совершенно пустым. Сиделись мы в первом ряду, поближе к дирижеру. Тогда «русским» репертуаром дирижировал Генрих Рисман, очень опытный дирижер, переехавший в начале шестидесятых в Баку из Куйбышева. Проработал он в нашей опере до самой смерти, а умер он в 1982 году, через неделю после смерти Брежнева. Об этом я расскажу отдельно, это особая тема – Рисман и Брежнев. В начале шестидесятых Рисман взвалил на себя весь «русский» репертуар, а мы, школьники, приходили в театр, как к себе домой. Сиделись на первый ряд и во время представления, если не было момента, который надо было непременно послушать, вели с Рисманом тихие разговоры «за жизнь». Он облакачивался о барьер, отделявший оркестровую яму от зала, поворачивался вполоборота к оркестру, махал привычно палочкой и рассказывал нам какую-нибудь историю из жизни. Смотреть в партитуру ему было не нужно – весь репертуар он знал наизусть, не уступая в этом своему гениальному коллеге Тосканини. Конечно, рассказывая нам историю, он прекрасно слышал все, что происходило в оркестре и на сцене, и при любой оплошности

певца или оркестранта поворачивался и «брал управление на себя».

Однако я отвлекся – речь пока не о Рисмане, а об Алиеве. Бедняга так хотел выступить в полном зале, хотел, чтобы ему аплодировали, а его, хотя он и пел главные партии, выпускали только на «рядовые» спектакли при почти пустом зале. Обидно. И как-то во время представления «Тоски» мы, зрители, а было нас, как обычно, полсотни, сговорились устроить ему овацию и вызвать на бис. В третьем акте, когда Алиев-Каварадосси спел свое знаменитое «О, никогда я так не жаждал жизни!», мы заорали «браво, бис!», Рисман посмотрел удивленно, ему о нашей акции не сказали, и он, видимо, решил в тот момент, что мы одновременно спятили. Сначала, скорее всего, так подумал и Алиев. Во всяком случае, вид у него был обескураженный. Но овация (можете себе представить, какая это была овация – аплодировало полсотни человек в пустом зале) продолжалась, Рисман положил палочку, сложил на груди руки и философски ждал, когда нам надоест. Алиев постепенно пришел в себя и решил, что сегодня превзошел самого себя, выдал нечто выдающееся, такое, что привело зал в восторг, приободрился и теперь уже нетерпеливо смотрел на дирижера, всем видом показывая, что готов впервые в жизни исполнить арию на бис.

Рисман пожал плечами, что-то сказал оркестрантам, они перевернули страницы партитуры назад, и стал бис. Это надо было слышать! От напряжения или неожиданности Алиев действительно запел – в том смысле, что голос его впервые покинул пределы гортани и устремился наружу. Он не просто пел, он еще и играл! Он единственный раз в жизни вообразил, видимо, что находится на сцене, по крайней мере, Большого театра. Он пел так самозабвенно, что, когда ария закончилась, никому не пришло в голову даже похлопать, все сидели ошарашенные, упустили момент вторично устроить овацию (теперь уж по-настоящему), а Рисман этим восполь-

зовался и без паузы повел оркестр дальше – на сцене появилась Тоска, начался дуэт...

Никогда больше Алиев не пел, как в тот вечер в финале «Тоски». Никогда больше не слышал оваций. Так прошел его звездный час...

Отсутствие теноров всегда было проблемой для нашей оперы – наверно, не только в Баку. Хороший тенор – «товар» штучный, а в провинциальном театре подавно. В середине шестидесятых годов Ибрагим Джафаров переехал в Москву и стал петь в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Там он и прослужил до пенсии, пел и главные партии (как-то, будучи в Москве в командировке, я слушал его в «Прекрасной Елене» Оффенбаха), но такого успеха, как у бакинских меломанов, не имел. В столице было все-таки с кем сравнивать...

А в нашей опере срочно нужны были тенора. И лирические партии стал петь Рауф Атакишиев. В то время он был уже профессором консерватории по классу фортепьяно, карьеру вокалиста делать не собирался, но голос у него был – и неплохой. Небольшой, но красивый, лирический, небольшого, впрочем, диапазона. Проблема была в том, что Атакишиев был похож на бочонок и видел плохо, носил очки с сильными стеклами и без очков (нельзя же было петь Неморино или Альфреда в очках!) очень плохо передвигался по сцене. Так что об актерской игре и думать не приходилось. И все же Атакишиева любили, и на «Любовный напиток» зал набирался – во всяком случае, половина партера была заполнена.

Драматические партии стал петь Лютфияр Иманов, прежде выступавший только в азербайджанском репертуаре. Азербайджанские оперы требуют совсем другой манеры исполнения, нежели русские и европейские. Мугам – азербайджанская народная песня, мугамы часто исполнялись и в операх – нужно петь с переливами в голосе, длинно и зау-

нивно... Помню, как после довольно долгого перерыва поставили «Фауста» с Имановым в главной роли. На премьерных спектаклях зал в те годы бывал еще почти полным, так что сидели мы не в первом ряду, а подальше, но все-таки в партере. Иманов пел отлично – крепкий был тенор, красивый, но... Полное отсутствие западной школы пения давало себя знать, а в каватине Фауста во втором акте он на верхней ноте вдруг решил, видимо, что поет мугам, и дал такую дивную, ни в какие ворота не влезавшую трель, что зал обмер. Посмеялись, да. Но и аплодировали долго.

Бывали и курьезные моменты – как без них? Как-то кто-то пригрел в театре кошку, и она повадилась выходить на сцену, когда ей захочется. Гнать ее во время спектакля было затруднительно – в зале все слышно, – вот она и ходила сама по себе. На сцене Скарпиа пристаёт к Тоске с непристойным предложением, а в это время на сцену, подняв хвост трубой, выходит кошка...

На премьере «Чио-Чио-Сан» в финале Мадам Баттерфляй поет свою заключительную сцену, прижимая к себе сына – на эту роль обычно брали, как и в других театрах, ребенка кого-нибудь из служащих. Обычно почему-то (в нашей опере, по крайней мере) брали девочку, которая исполняла роль мальчика. А на премьере мальчик был самый настоящий, лет пяти (хотя по либретто должен был быть двухлетним), и в самый трагический момент ему захотелось в туалет, да так сильно, что он едва сдерживался, елозил ногами и корчил рожицы. А «мама» его в это время одной рукой прижимала к себе сына, другой держала кинжал и пела «А я иду далёко, откуда нет возврата!».

Хорошо хоть финальная сцена у Пуччини продолжается минуты три, иначе опера могла действительно закончиться не трагедией, а фарсом...

* * *

В оркестре очень долго – десятки лет – играл на скрипке старый еврей (старым он уже был, когда я стал ходить в оперу, а евреем – всю жизнь). Дослужился до концертмейстера скрипок, на пенсию не уходил, репертуар, как и Рисман, знал наизусть. Но пришла беда – у него началась болезнь Паркинсона. Однако и тогда он не ушел на пенсию, а почему его не отправило на покой начальство – не знаю. Точнее – отправило, конечно, но не сразу, и я еще застал этого скрипача, когда у него уже был Паркинсон, и его скрипка в самые неожиданные моменты издавала жуткий звук. Продолжался этот звук две-три секунды, но можете представить, какое это производило впечатление. Завсегдатаи, конечно, знали, что к чему, и порой даже аплодировали скрипачу после спектакля...

И еще – о странных звуках, которые иногда слышались из оркестра. Как-то приехала на гастроли украинская певица и выступила в партии Кармен. Женщина она была очень темпераментная, и кастаньеты в ее руках так и мелькали. В начале второго акта во время страстного цыганского танца гастролерша сделала слишком резкое движение, кастаньета вырвалась из ее ладони, полетела в зал и – вот незадача! – попала точно в раструб тромбона. Звук, который при этом получился, описать не могу. Но могу описать впечатление, которое этот звук произвел на слушателей. В первый момент никто ничего не понял, но секунду спустя грянул хохот, и, надо отдать должное Рисману и певице: первый продолжал дирижировать, а вторая петь, будто ничего не произошло...

Однажды во время представления на дирижера Ниязи (это был народный артист Азербайджана, известный дирижер – не только оперный, но и симфонический) упал с потока кусок штукатурки. К счастью, не на голову, но рядом с дирижерским пультом. Театр очень давно не ремонтировали, только подкрашивали перед началом очередного сезона. Что-то на

потолке прохудилось, кусок штукатурки отвалился...

Театр закрыли на капитальный ремонт. Года два оперная и балетная труппы выступали в помещении Театра музыкальной комедии. Зал там гораздо меньше оперного, сцена тоже. Правда, конструкция более «классическая»: несколько ярусов, как в «приличном» оперном театре. В те годы в Музкомедии была отличная труппа – блистал, кстати, отец известной впоследствии певицы Ирины Аллегровой, замечательный комический актер, отличный Бони. Но сейчас речь не об оперетте, а об опере. Два года шел ремонт, говорили, что для зала Гейдар Алиев приказал закупить в Финляндии какие-то очень дорогие кресла, огромную люстру тоже сделали новую. Наконец ремонт закончился, и открытие театра приурочили к очередной годовщине установления советской власти в Азербайджане – 28 апреля. Должен был состояться большой концерт. Без нас, конечно. Во-первых, у меня желания не было слушать соответствующую моменту музыку. Во-вторых, туда и попасть было невозможно –



Театр оперы и балета
после реконструкции.

только по особым приглашениям из ЦК партии.

Но послушать концерт не удалось никому, потому что в ночь перед открытием театр сгорел. Почему начался пожар, я точно не знаю. Говорили, что по вине ремонтников. Кто-то устроил на чердаке костерок (зачем? непонятно). Как бы то ни было, театр сгорел дотла. Когда приехали пожарные, оказалось, что напор воды в гидрантах был таким маленьким, что залить пламя не удавалось. А потом вода вообще кончи-

лась (не редкость в Баку), и пришлось тянуть шланги к самому морю, благо это не так далеко, несколько кварталов.

Пришлось театр уже не ремонтировать, а восстанавливать. Стены сохранились, но внутри все выгорело, и таких денег, какие выделили партия и правительство на первый ремонт, уже не было. Поэтому решили сделать скромно, но со вкусом. Скромность заключалась в том, что кресла в зале стояли теперь самые обычные. А вкус у тех, кто проектировал интерьер, оказался очень специфическим. Для того, видимо, чтобы изобразить «богатство», в зале появились гипсовые скульптуры – кариатиды, которые теперь подпирали амфитеатр и ложи бель-этажа. Обнаженные красавицы а-ля Венера Медицейская (которая с руками) выглядели ни к селу, ни к городу, но если бы дело было только в этом... Достаточно оказалось гипсовых изваяний, чтобы исчезла замечательная акустика. Если раньше можно было говорить на сцене шепотом и слышно было в амфитеатре, то теперь певец должен был выходить петь к авансцене, чтобы его услышали в последнем ряду партера.

Впрочем, в те годы я уже очень редко ходил в оперу – и не только потому, что пропала акустика. Компания наша разлетелась, Тромбон жил в Ленинграде, Рисман умер, новые спектакли появлялись редко... Но даже и это не было главной причиной. Изменилась жизнь, но это уже другая история...

* * *

Когда мы учились в школе, то с нами за компанию в оперу ходил Лёня Дукельский, учившийся на два класса ниже – мы уже было в десятом, а он в восьмом. Оперу он тоже любил до самозабвения и, в отличие от нас, знал по именам и лично всех солистов и даже хористов, к Рисману заходил в гости, в общем, знал все обо всех. И мы втроем решили устраивать в школе вечера оперной музыки. Вечера в нашей школе про-

ходили в в спортзале, где была и сцена. Зал был большой, и, когда ставили стулья, туда вмещалось человек триста или больше. Обычно вечера были по случаю праздников, готовили представления, песни – как и положено в таких случаях (однажды для такого вечера мы с Тромбоном сочинили песню – я слова, а он мелодию, он же и играл на кнопочном аккордеоне). А после выступлений, понятно, начинались танцы. Народ, в основном, из-за танцев и приходил. Помню радостную атмосферу этих вечеров, приходили и преподаватели, с которыми мы общались без чиновочитаний, все были «свои».

Мы с Тромбоном учились в десятом классе, когда исполнилось 60 лет со дня смерти Верди, и по этому поводу мы решили устроить вечер. Собрали и записали на школьный студийный магнитофон арии из опер Верди (в нашей школе была своя радиостанция, передавала на переменах музыку и директорские распоряжения). Коллекция у меня тогда была еще очень маленькая – десяток пластинок, записанных на скорости 78 оборотов в минуту, а долгоиграющих было всего три или четыре. У меня даже проигрывателя тогда не было. У родителей не было денег купить самую простую радиолу, и я приобрел портативный патефон с ручкой.

1961 год! Всего полвека назад! Патефон! А на первой пластинке, которую я купил, были записаны две (по одной на каждой стороне) арии Каскара из оперы Леонкавалло «Заза», пел потрясающий баритон Титта Руффо. Пластинка эта давным-давно сломалась, но я столько раз ее слушал, что и арии эти, и исполнение запомнил очень хорошо. Много лет спустя купил уже не пластинку, а компакт-диск, где был записан концерт Титта Руффо, там были и те две арии...

Вернусь к вечеру памяти Верди. Брат Жирафа (он был художником) нарисовал на листе ватмана афишу, где изобразил Герцога из «Риголетто», разбрасывающего карты. Написано было о вечере, но, главное, было сказано ясно и

определенно: «ТАНЦЕВ НЕ БУДЕТ». Какие танцы на вечере памяти великого композитора?

Народ, естественно, не поверил. Вечеров без танцев в школе еще не бывало. И потому зал, как обычно, набился под завязку. И ученики пришли, и преподаватели. А на сцене только огромный динамик и я. И что самое странное: я был очень некоммуникабельным, закомплексованным, но при этом абсолютно не испытывал страха перед сценой и микрофоном. Вышел один, в зале триста человек, среди них любителей оперы единицы, если таковые вообще были, все пришли танцевать, а мне плевать, я хотел рассказать о Верди. Смотрел в зал и не чувствовал никакого волнения. Я бы больше волновался, если бы маме про Верди рассказывал. Подождал, пока настанет тишина. В зале разговаривают, я жду. Пять минут, десять... Наконец зал понял, что, пока не станет тихо, я рот не раскрою. И стало тихо. Начал я рассказывать о Верди, об опере, увлекся, включал записи. Народ ждал танцев, в зале стали шуметь. Тогда я поставил звук на максимум, а сам уселся на динамик, всячески показывая, что на аудиторию мне плевать, я все равно буду рассказывать и включать арии. И странное дело: в зале успокоились и стали слушать. И слушали битых полтора часа. Наверняка для подавляющего большинства это были первые арии, которые они услышали. И даже аплодировали! Но все равно ждали танцев.

Наконец «доклад» закончился, я сказал: «Всё, до свиданья!» и пошел со сцены. Только тогда в зале поняли, что танцев действительно не будет. И ничего, бунта не случилось. Поболтали еще друг с другом и разошлись.

Такие вечера мы стали устраивать примерно раз в месяц. Рассказывали про Пуччини, Россини, про конкретные оперы. Народу приходило, конечно, гораздо меньше, чем в первый раз, но приходили. И только в одиннадцатом классе вечера прекратились. Мы тогда учились 11 лет, была хрущевская реформа, которую через год отменили, но мы, тем не менее, ус-



С Л. Дукельским (и Россини) на Приморском бульваре. 1963 г.

пели проучиться лишний год. В одиннадцатом просто времени не было готовить музыкальные вечера. Но в оперу я продолжал ходить – чаще не с Тромбоном, а с Лёней Дукельским.

У Лёни была своя страсть – он обожал дирижировать. Собирались мы у него дома, квартира была большая, старинная, в дореволюционном доме, высокие потолки... Собирались вчетвером: Лёня, Тромбон, Жираф и я. Иногда (со временем все чаще) кто-то приводил свою девушку. Обычно Тромбон – он девушек менял каждый месяц. Жираф – реже. А я приходил один – девушки у меня не было. У Лёни тоже была девушка, соседка, жила этажом ниже. Мы продолжали собираться в таком составе и после школы, когда я уже учился в университете, а Лёня еще заканчивал десятый класс. Включали запись какой-нибудь оперы, и Леня дирижировал этой записью с начала до конца. Пластинок у нас было в то время мало – в основном, записи спектаклей Большого театра с Козловским, Лемешевым, Лисицианом, Мас-

ленниковой, Нэлепшом.

Леня обожал «Тоску», и это была единственная у нас тогда запись итальянского исполнения с Марией Каллас, Джузеппе ди Стефано и Тито Гобби. Запись была не на пластинке (таких пластинок в помине не было), а на магнитофоне, и «достали» мы ее через какого-то Лёниного знакомого, который, в свою очередь, был знаком с самим Муслимом Магомаевым. А Магомаев тогда только что вернулся из Италии, где учился петь, и привез с десяток оперных записей на пластинках. Эти пластинки переписали на магнитофон, и бакинские меломаны их себе переписывали, как потом переписывали записи Высоцкого, Окуджавы, Галича...

Включали мы «Тоску» и слушали сотый раз, Лёня дирижировал, а когда дело доходило до смерти Скарпия во втором акте, там музыка тихая, и Скарпия, умирая, делает вздох «Аах...», у Гобби это здорово получалось, но все же, по мнению Лёни, слишком тихо, и на этих нотах он увеличивал громкость магнитофона до максимума, и «Аах» раздавалось даже громче, чем самая громкая ария.

* * *

В Бакинской консерватории был кабинет звукозаписи – там студенты прослушивали пластинки, учились исполнению у великих музыкантов. Заведовал кабинетом звукозаписи Джафар Мехтиевич Джафаров, милейший старик (это я тогда думал, что старик, ему вряд ли было больше шестидесяти), большой меломан и, как мы, любитель итальянской оперы. В отличие от нас, он имел большие связи в музыкальном мире и по каким-то своим каналам получал записи опер из-за рубежа. У него были пластинки, которые он, получив, сразу переписывал на магнитофон, и слушать позволял только магнитофонные записи, а пластинки держал чуть ли не в сейфе и иногда позволял разглядывать обложки. Он-то и устраивал в своем кабинете вечера прослушивания. А мы стали туда хо-

дять. Попасть было, кстати, сложно – Джафар Мехтиевич приглашал только консерваторских и еще очень немногих, кого ему особо рекомендовали. Собиралось человек двадцать, не больше.

Как мы с Лёней туда попали, я уже не помню, но попали и ходили на прослушивания года два, пока Джафар Мехтиевич не заболел. Много замечательных записей мы тогда слушали. Мне они казались такими раритетами, что я был убежден: никогда больше мне не удастся услышать это замечательное пение, ведь пластинок таких в продаже не было и достать их было неоткуда. Теперь я с ностальгией вспоминаю те вечера и те записи, которые у меня уже, конечно, есть. Сейчас есть много больше, чем было тогда у Джафарова. Тогда я мечтал хотя бы раз услышать «Трубадура», которого уж который год собирались поставить в нашей опере, но никак не ставили. Сейчас у меня десятка три разных записей «Трубадура», в том числе видео, в том числе с участием Доминго, Паваротти, Каллас...

...Послушав оперы, мы пили чай, который готовил сам Джафаров, а он это умел, обсуждали услышанное, расходились поздно, мне нужно было добираться в микрорайон, где мы получили квартиру (точнее, получил отец, стоявший в очереди больше десяти лет, он работал в музее Ленина, там квартиры давали, а мама работала в портняжном цеху, и там ни о каких квартирах и мечтать не приходилось). Обычно я возвращался домой последним автобусом, родители волновались...

* * *

Когда Джафаров заболел (и вскоре умер), кабинет в консерватории закрыли. А я окончил университет, стал работать в обсерватории, и пластинок у меня было уже довольно много. В середине шестидесятых фирма «Мелодия» начала выпускать лицензионные пластинки с лучшими исполнениями. Появи-

лись в продаже оперы Верди «Травиата», «Отелло», «Бал-маскарад», «Фальстаф», которыми дирижировал сам Тосканини. Это и сейчас эталонные записи – лучшего исполнения я не слышал. А в обсерваторию ездил каждую неделю – в понедельник уезжали на гору, в пятницу к вечеру возвращались в Баку. В обсерватории я собирал компанию, человек пять-шесть, и крутил эти пластинки. Рассказывал сначала сюжет, а чтобы не казалось скучно, изображал оперные перипетии с изрядной долей иронии. Сюжет «Трубадура» действительно трудно излагать на полном серьезе, хотя это трагедия. В истории фигурирует байка, согласно которой в кафе около Ла Скала висит лист бумаги, на котором каждый может попытаться изложить связно сюжет «Трубадура», так чтобы это было всем понятно. Предлагалась награда, но ее так никто и не получил. Конечно, это байка, на самом деле сюжет этой оперы достаточно понятен, хотя и не всегда логичен.

В обсерватории собирались мы обычно по средам, вечером, поэтому называли себя «посредниками». Собирались в приемной у директора, потому что там были удобные кресла, комната большая, акустика хорошая. Директор обычно по вечерам проводил время в своем коттедже. Часто его и вовсе не было в обсерватории – уезжал в Баку. Так что нам никто не мешал.

Но все-таки вечера в приемной директора закончились, когда к нему как-то нагрянули гости из Академии, и он вечером привел их к себе в кабинет. А у него в приемной мы сидим, оперу слушаем... Попросил больше этого не делать. Тогда мы стали собираться в квартире замечательной женщины Галины Владимировны Ахундовой, она была астроном-наблюдателем, когда-то вышла замуж за азербайджанца, он тоже работал в обсерватории, но, к сожалению, умер еще до того, как я стал туда ездить. У Галины Владимировны были две дочери: Наташа и Зема, тогда школьницы. В поселке у них была трехкомнатная квартира – мы-то все жили в коттеджах,

у каждого по комнате, как в гостинице.

Вечера у Галины Владимировны продолжались тоже не так уж долго – чуть больше года. Потом она заболела, обнаружили рак, а она была еще молодая – лет сорок пять...

Когда Галина Владимировна умерла, наши вечера прекратились окончательно.

* * *

В молодые годы я так привык слушать хорошую музыку в хорошей компании, что до сих пор не могу от этого желания избавиться – не нравится слушать в одиночку, хочется поделиться, хочется, чтобы рядом сидел человек, которому это тоже нравится, хочется обмениваться взглядами, когда что-то очень красивое... Довольно часто были идеи и здесь, в Израиле, что-то такое организовать, но не получалось.

Множество прекрасных опер (больше трех тысяч!) у меня записано на дисках, и я с грустью думаю, что даже по второму разу уже не успею прослушать...

* * *

В шестидесятом году, когда мы учились в десятом классе, в нашем оперном театре была объявлена премьера – поставили новую оперу молодого азербайджанского композитора Рамиза Мустафаева «Вагиф» – об азербайджанском поэте и государственном деятеле 18 века. Вагиф был не только большим поэтом, но и ученым. О нем как-то услышал правитель Карабаха и пригласил Вагифа во дворец, даже назначил визирем. Вполне достойный материал для оперы.

Мы с Тромбоном до того времени посещали представления только русской труппы. А тут – мировая премьера, опера современного композитора, интересно!

Пришли мы с Тромбоном за билетами примерно за неделю до спектакля, думали, как обычно, народу будет не-

много, возьмем билеты в последний ряд амфитеатра, а сядем в партере. Нам почему-то казалось, что на премьеру новой азербайджанской оперы публика валом не повалит, это не «Евгений Онегин» и не «Аида».

Над окошечком кассы висело объявление: «Все билеты проданы». Такого не бывало, даже когда приезжали зарубежные гастролеры. Разве что когда пел румынский баритон Николае Херля, а потом известный американский тенор Жан Пирс (о котором говорили, что он любимый тенор Тосканини), в оперу было не пробиться, но и тогда Тромбон билеты «доставал», особой проблемы не было.

На «Вагифа» все билеты оказались проданы на три представления вперед. Но мы не собирались сдаваться.

«Приходите завтра, – сказала знакомая кассирша. – Нескольких билетов у меня есть в заказе, и, если их сегодня не заберут, я вам продам».

Назавтра мы действительно смогли купить два билета в амфитеатр – не на последний ряд, а где-то посередине, на восьмом или девятом. И это нам потом вышло боком...

Пришли мы с Тромбоном на премьеру, надев, как положено, самые приличные костюмы, что у нас были (производства ГДР), даже галстуки повязали.

Толпа перед зданием оперы уже с самого начала привела нас в легкое замешательство. Это были люди, которых мы привыкли видеть на рынке или на бакинских задворках вроде Советской улицы, которая считалась самой криминогенной в республике. Они были в старых брюках и в пиджаках, к брюкам никакого отношения не имевших. На головах у многих красовались пресловутые кепки-аэродромы. И на что мы еще обратили внимание: почти не было женщин.

Ближе к началу стали подъезжать машины, из них выходила бакинская «знать», судя по всему. Женщины в богатых платьях, в украшениях, серьгах, браслетах и кольцах. Мужчины в дорогих костюмах (явно не ГДР). Приехавшим усту-

пали дорогу, и он входили в театр – видимо, занимали места в первых рядах партера.

Минут за пятнадцать до начала толпа повалила в театр, мы попелелись следом.

Наша опера всегда отличалась тем, что спектакли начинались минута в минуту, ровно в 19.30 звенел третий звонок, в зале гас свет, на подиуме появлялся дирижер, кланялся залу и поворачивался к оркестру.

Но в тот вечер публика к началу рассесться не успела. Мы пробрались на наши места в амфитеатре, откуда плохо было видно (мешали первые ряды), что происходило в партере, но в амфитеатре творилось нечто невообразимое. Во-первых, большинство мужчин (женщин мы в амфитеатре вообще не увидели), усевшись, разулось, оставшись в носках, и можно себе представить (нет, скорее невозможно), какое амбрэ распространилось в воздухе.

Во-вторых, многие успели побывать в буфете, прикупить пива («Жигулевское», бутылочное – другого тогда не было), и, усевшись на свои места, народ эти бутылки открывал, используя самые разные способы, и прикладывался, так что к запаху носков примешался еще и пивной запах.

Тем временем началась увертюра. Хорошая, кстати, была музыка, мелодичная, но слушать было трудно: в амфитеатре громко разговаривали, да и в партере, как нам показалось, было ненамного тише.

Увертюра как увертюра – минут на пять-шесть. Но уже на второй минуте, когда музыка звучала, а занавес не поднимался, публика стала проявлять недовольство. Громкие голоса раздавались и в амфитеатре, и в партере. Говорили по-азербайджански, и мы с Тромбоном мало что понимали – народ почему-то ругал дирижера не очень цензурными словами: хватит, мол, бодягу тянуть, оперу давай.

Неожиданно раздался громкий звон: из амфитеатра в партер упала, судя по звуку, пустая пивная бутылка. Упала,

к счастью, не кому-то на голову, а в проход, судя, опять же, по звуку разбившегося стекла. В ответ снизу послышались возмущенные женские голоса и громкие мужские ругательства.

Хорошо, что в это время открылся занавес, и началась собственно опера. В зале стало относительно тихо, и мы с Тромбоном решили, что теперь-то сможем послушать оперу, не отвлекаясь. Минут десять так и было. На сцене стояла декорация одного из залов ханского дворца, хор пропел о величии хана (как мы догадывались по движениям хористов), вошел хан (не помню, кто пел кого в тот вечер), начался дуэт с другим сановником, тот, похоже, докладывал о приезде поэта Вагифа. Вошли и немного попели ханская жена (как правильно? ханка? ханесса?), ханская дочь (в которую, видимо, предстояло влюбиться Вагифу), музыка была мелодичной, вполне современной, было в ней что-то от западного стиля, но... В амфитеатре опять нарастало возмущение, которое выразил некто невидимый, неожиданно закричавший во весь голос, и на этот раз мы с Тромбоном вполне поняли: «Мугам давай!»

Это бы еще ничего, но в одном из первых рядов партера (эту часть зала мы с Тромбоном видели со своих мест) поднялся мужчина и таким же громким голосом, повернувшись в сторону амфитеатра, послал товарища, требовавшего мугам, туда, куда обычно посылают по-русски. Это мы с Тромбоном тоже поняли, поскольку, не зная толком азербайджанского, по части ругательств были подкованы вполне прилично.

Похоже, тот, кто требовал мугам, смертельно обиделся на того, кто ему ответил, – судя по движению, возникшему в амфитеатре по правую от нас сторону, близкую к боковой двери, товарищ пошел разбираться со своим противником, а билетерша (одна или несколько) пыталась не выпустить его в коридор и не открывала двери.

Не знаю, чем бы закончился зарождавшийся скандал, но в

это время Вагиф на сцене взял, наконец, в руки тар (струнный щипковый инструмент, немного похожий на гитару), и оркестр заиграл такую заунывную мелодию, что у меня мгновенно заныли зубы. Мугам – это музыка не для слабонервных. Однако именно мугам, которого так долго (целых двадцать минут!) ждали, спас ситуацию. Зал мгновенно затих. Это было поразительно – ни разговоров, ни шепота, ни звука пивных бутылок. Тот, кто рвался в бой, затих тоже. И стал мугам, который продолжался до конца первого акта к восторгу публики, устроившей овацию Вагифу, когда закрылся занавес.

Но мугам переполнил нашу с Тромбоном чашу терпения. Когда начался антракт и народ повалил в буфет возобновлять пивные запасы, мы тихо вышли из театра и побрели по улице имени другого азербайджанского поэта Низами. Напевали что-то под нос, причем одну и ту же мелодию, обоим нам прекрасно знакомую – будто этой мелодией мы пытались растворить в памяти только что услышанное и увиденное.

Перед домом, где жил Тромбон, мы остановились и впервые после выхода из зала заговорили друг с другом.

– Послушай, Пибл, – спросил Тромбон, – что это мы всю дорогу мычали? Что-то знакомое, но не могу вспомнить что.

– И я не могу, – признался я. – Но это не из «Вагифа».

– Это точно не из «Вагифа», – согласился Тромбон, – но откуда все-таки?

Мы постояли несколько минут, пытаюсь вспомнить, но так и не сумели и разошлись по домам. Только дома я, наконец, вспомнил: «мычали» мы знаменитую арию Каварадосси из третьего акта оперы Пуччини «Тоска»: «О, никогда я так не жаждал жизни!»

Воистину...

Это был первый и последний раз, когда мы с Тромбоном ходили на представление азербайджанской оперы.

Несколько лет назад, прочитав в Интернете сообщение о кончине композитора Рамиза Мустафаева, вспомнил, как мы с

Тромбоном слушали «Вагифа» (хорошая опера, она потом шла в театре много лет), и печально подумал: «Жаль, что уходят такие молодые»... И только потом «вспомнил», что молодым композитор Мустафаев был полвека назад, а умер он в возрасте 82 лет. Странная штука память – она сохраняет людей в том возрасте, в каком их помнишь. Молодыми. Навсегда.

И почему-то еще вспомнилась табличка, висевшая в старом Бакинском зоопарке на клетке с тигром. На табличке было написано: «Звери демонстрируются в том положении, в котором они находятся».

С памятью это так и есть. Она демонстрирует нам сейчас то состояние, в котором мы находились когда-то...

* * *

Главный дирижер Бакинского театра оперы и балета Генрих Ильич Рисман умер в 1982 году. Он поднялся на подиум, чтобы дирижировать «Пиковой дамой», и упал. Инсульт, – констатировали врачи. Было Рисману шестьдесят два года.

Леонид Ильич Брежнев был чуть постарше. Впрочем, и почил в бозе немного раньше – ровно на неделю.

Двух Ильичей – московского и бакинского – связывало давнее знакомство, о чем Ильич бакинский рассказывал на всех вечерах, а Главный Ильич страны, возможно, и не подозревал.

Рисман был человеком, хоть и скромным, но славу любил. Покажите артиста, который чуждается славы. В начале шестидесятых он переехал в Баку из Куйбышева и почти сразу взял на себя всю тяжесть русского и западноевропейского оперного репертуара. Как положено, перед началом последнего акта зрители устраивали дирижеру овацию, а что еще нужно для счастья?

Оказывается, не одной оперой жив человек.

Когда во всех газетах, начиная от «Правды» и кончая «Агитатором Каспия», была напечатана «Малая земля», Рисман пришел на репетицию сам не свой.

– Подумать только! – сказал он оркестрантам. – Оказывается, это тот самый Ленья Брежнев! Мне и в голову не могло прийти! Да мы же...

И он рассказал несколько оторопевшим музыкантам историю своей службы в легендарной Восемнадцатой армии.

Воевал Рисман не на передовой, а в военном оркестре. Это был его первый дирижерский опыт после консерватории. Дело нужное, кто спорит. Под Новороссийском было, конечно, тяжело, бомбили, а однажды даже и уносить ноги пришлось во время неожиданной (играли для солдат старинные марши) атаки немцев.

Как-то подошел после концерта к Рисману молодой чернобровый политрук и сказал:

– Хорошо дирижируешь. Понравилось.

– Служу... – начал было Рисман, но политрук прервал его, сказав:

– Заходи в двадцать часов в штаб.

Не очень понимая, для чего в штабе дирижер без оркестра, Рисман, тем не менее, приказ выполнил. С того вечера он захаживал в штаб довольно часто, никому не рассказывая о том, что там делает. Не «Онегиным» дирижирует, естественно.

Когда стало совсем худо, оркестр перевели с Кавказа в За-волжье, в славный город Куйбышев, куда предполагал в свое время перебраться из Москвы сам Сталин. Там Рисман и про-вел войну, там остался и в опере служить. О встречах с политруком вспоминал с благодарностью: если бы не Брежнев, не оказался бы оркестр в тихом Куйбышеве, разметало бы всех по разным фронтам.

Шли годы, Рисману и в голову не приходило отожде-ствить нового Генсека с молодым чернобровым политруком. «Малая земля» освежила память.

– И знаете, для чего он меня вызвал в штаб? – спросил Рисман оркестрантов. Ответа, естественно, не получил и про-должал:

– Я знал почти всех женщин в армии. Санитарок, врачей, и по хозяйству которые... Вот мне политуправление в лице Брежнева и поручило... Как бы это лучше выразить... В общем, был я как служба знакомств.

Наверно, не стоило Рисману предавать гласности историю военных лет. Тем более – такую. И тем более – после ошеломительного успеха «Малой земли» у простого советского народа. Но ведь музыканты – как дети...

Однажды Рисмана вызвали в партком театра и о чем-то намекнули. А он, собственно, эту историю уже не рассказывал – обрастая подробностями, она и так бродила по городу.

Теперь Рисман думал о другом.

Приближался очередной день рождения Главного Ильича страны. В канун этой знаменательной даты Рисман пришел в почтовое отделение номер 1, что напротив Баксовета, и протянул в окошечко бланк телеграммы.

– На красочной открытке, пожалуйста, – вежливо попросил он.

Телеграфистка прочитала текст, обратила взор на адрес и вернула бланк.

– Эту телеграмму я принять не могу, – сказала она. – Меня с работы уволят. Идите к начальнику, пусть даст разрешение.

Пошел Рисман к начальнику.

– Да вы что? – вскричал начальник, прочитав текст. – Не могу позволить. Ни за что.

– Что же это происходит? – искренне возмущился Рисман. – Я хочу поздравить друга с днем рождения!

– Друга – сколько угодно. А вы пишете в Кремль.

– Ну и что? «Дорогой Леня, – прочитал Рисман вслух. – Поздравляю днем рождения. Вечно помню нашу дружбу Малой земле. Всегда готов повторять подвиги. Уверен близкой встрече воспоминаний походов юности. Генрих Рисман». В чем, собственно, дело?

– Идите в райком партии, пусть дадут визу.

Коммунист Рисман в райкоме был раза два. Но если почитать такой перестраховщик – пошел. И начался обыкновенный футбол, знакомый каждому простому советскому человеку. От секретарши к референту, от референта к третьему секретарю, от третьего к референту второго...

Удивительно не это. Удивительно то, что весь путь до первого Рисман прошел за один рабочий день! Ведь телеграмму нужно было отправить или сегодня, или – через год. Ибо, как говорил народный герой Гена: «К сожаленью, день рожденья только раз в году».

Когда в седьмом часу вечера Рисман добрался до кабинета первого секретаря райкома, он был голоден, зол и готов побить каждого, кто встанет на пути между ним и Ильичом.

– У меня через полтора часа спектакль, – заявил Рисман, – ждате мне некогда. Ваши подчиненные бюрократы. Они за все поплатятся.

– Послушайте, дорогой Генрих Ильич, – сказал секретарь. – В таком состоянии дирижировать вы не сможете. Сегодня вас заменит... ээ... – он заглянул в листок, – товарищ Абдуллаев. А вам на ночь предоставили комнату в доме отдыха. Отдохните за счет райкома, а утром мы разрешим этот вопрос.

– Какой дом отдыха? – вскипел Рисман.

Он узнал об этом примерно час спустя, когда в сопровождении двух «референтов» был привезен на Баилов, в заведение, где обычно отдыхали диссиденты в компании с Наполеонами.

О двухдневном пребывании в «доме отдыха» Рисман не рассказывал никогда. Вернулся он задумчивый, неделю пробыл в отпуске, а потом вяло продирижировал «Трубадуром».

Прошел год. За неделю до следующего дня рождения Главного Ильича Рисман записался на прием к первому секретарю горкома. Старую историю уже успели забыть, и ди-

рижер был принят с распростертыми объятиями.

– Партия всегда помогает деятелям искусства, – воодушевленно сказал первый секретарь. – Что нужно? Квартира? Машина? Путевка в санаторий?

– Подпишите вот здесь, а то на почте не принимают, – сказал Рисман.

Первый секретарь прочитал и помрачнел.

– Ну... – сказал он осторожно, – я сам не могу решить такой вопрос. Если бы вы просто поздравляли, как все... Но вы тут пишете о вашей... э... дружбе. А это вопрос деликатный.

– Я Брежнева знал, когда вы еще пешком под стол ходили!

– Может быть, – вздохнул товарищ первый секретарь и добавил твердо: – Не могу. Вопрос о том, кто товарищу Брежневу друг, а кто нет, решает только сам Гейдар Алиевич.

ЦК партии располагался через дорогу от горкома, но улицу Рисман переходить не стал. До Дня меньше недели. Алиев примет в лучшем случае через месяц. В этом году тоже не успеть. Но он добьется! И они все попляшут!

За месяц до нового Дня Рисман записался на прием к Алиеву. И принят не был. По очень простой причине: не только Рисман готовился поздравить Генсека, но и сам товарищ Алиев. То ли был занят выбором подарка, то ли репетировал процесс поцелуя.

Рисман занемог. Инфаркт случился не тяжелый, но месяц пришлось полежать. Месяц без театра, без музыки, без публики. Мы с Лёней Дукельским приходили его навещать, и Генрих Ильич рассказывал избранные места из своей «поздравительной эпопеи».

– Все равно, – говорил он, – я добьюсь. И тогда они у меня попляшут.

Он забыл, что никогда не дирижировал балетами...

Генрих Ильич пережил Леонида Ильича всего на неделю. Смерть друга, видно, сильно подействовала на дирижера. Вечером десятого ноября он должен был дирижировать комическим «Любовным напитком», но спектакль, естественно, отменили, и Рисман отправился на почту. Протянул в окошко бланк телеграммы: «Скорблю со всем советским народом»...

– Восемьдесят пять копеек, – сказала телеграфистка.

Так была дана оценка юношеской дружбе. Даже до рубля не дотянула.

* * *

Много лет спустя, в 2001 году, в новом уже тысячелетии, приключилась со мной история, связанная с музыкой – не с оперой, но все же история странная и не объясненная, а потому расскажу о ней.

Были мы с женой Таней и ее подругой детства Соней в славном городе Праге. Май месяц. Погода была прекрасная, теплая, мы много гуляли, пользуясь картой города, которая ни разу не подвела. Очень легко было ориентироваться, на подробной карте Праги были отмечены практически все места, которые имело смысл посмотреть, все улицы, площади, отели, гостиницы...

Как-то днем на Ратушной площади мы увидели объявление: вечером как раз того дня в церкви Св. Сальватора должен был быть исполнен Реквием Моцарта. Билеты, кажется, можно было купить при входе, а может, вообще вход был свободным, я уже не помню, да это и неважно. Послушать Моцарта в католическом храме – этого мы пропустить не могли! Правда, Соня классической музыкой не интересовалась и с нами пойти не захотела, предпочла прогулку вечерней Праге.

Так и решили. Начало было в 20 часов. Поэтому мы к семи вечера приехали втроем на берег Влтавы, к Двораковской на-

бережной, оттуда Соня пошла в центр, а мы, поглядев на карту и убедившись, что до церкви идти всего минут десять, медленно направились по той улице, что вела к нужному месту. По дороге встретили двух американских туристов, мужчину и женщину, которые спросили у нас, где находится храм св. Сальватора. Они тоже собирались послушать Моцарта. Можно было пойти вместе, но времени до начала было еще много, и я показал туристам на карте, куда нужно пойти и где свернуть. Они поблагодарили и пошли в указанном направлении. А мы еще немного побродили, всякий раз сверяя наше местоположение с картой, чтобы не ошибиться и вовремя выйти к церкви. Далеко не отходили, гуляли с таким расчетом, чтобы успеть к началу.

Было примерно без двадцати восемь, когда мы вышли на улицу, где находилась церковь. До нее оставался один квартал, по карте – метров сто или чуть больше. И только тогда мы обратили внимание, как мало вокруг людей. Почти никого. Издалека слышны были голоса, шум машин, но поблизости не было ни одной живой души, ни одной машины. Церковь должна была находиться по правую сторону улицы, и мы внимательно смотрели, чтобы не пропустить. Стало уже почти темно, зажглись фонари, фасады были хорошо освещены, ошибиться мы не могли.

Прошли квартал, другой, третий и вышли на центральную улицу – мы и должны были на нее выйти, согласно карте, но только если бы прошли мимо церкви. Неужели все-таки пропустили? Вернулись обратно, смотрели теперь на левую сторону, я считал дома, сверяясь с картой – все здания, обозначенные на карте, были на месте, все маленькие площади. Было всё, кроме церкви св. Сальватора! Не было не только церкви, не было и людей, спешивших на концерт. Я полагал, что сотни человек должны были именно в те минуты или идти к церкви, или толпиться около нее, как это обычно бывает. Но улица была пустынна, звуки доносились по-пре-

жнему только издалека, а церкви св. Сальватора не оказалось ни там, где она была обозначена, и вообще нигде – мы прошли улицу насквозь и вышли на маленькую площадь, которой она заканчивалась и где мы уже были минут десять назад.

Ничего не понимая, мы пошли в направлении центральной улицы, на этот раз еще внимательнее глядя не только вправо, где была обозначена церковь, но и влево, где церкви, по карте судя, быть не могло.

Мы опять вышли на центральную улицу. Церкви не было.

Я уже не помню сейчас, сколько раз мы прошли улицу туда и обратно. Улица была пустынна, даже спросить не у кого было, где же церковь и где народ, собравшийся послушать Моцарта?

Было минут двадцать девятого, когда мы решили, что больше искать нет смысла – если Моцарта где-то и исполнили, то концерт уже точно начался. «Значит, врет карта», – решили мы. Вышли на центральную улицу, дошли до метро и поехали в гостиницу, где нас встретила удивленная Соня. Расставшись с нами, она немного побродила, но одной ей было скучно, и она вернулась в гостиницу. Мы рассказали ей о случившемся, еще раз я сопоставил карту с объявлением и реальностью, все выглядело очень странным, но не настолько, чтобы долго об этом размышлять. «Скорее всего, – решили мы, – ошибка в карте. Наверно, церковь св. Сальватора находится на другой улице, и надо было нам не ходить туда-сюда, а все же найти хоть кого-то, кто мог бы нам указать правильное направление. Завтра, – решили мы, – пойдем туда днем и непременно обнаружим церковь на какой-нибудь соседней улице».

Мы так и сделали. Пошли днем и обнаружили церковь св. Сальватора – но не на соседней улице, а именно там, где она и должна была находиться, судя по карте. Вот дом до церкви, мимо которого мы несколько раз проходили вечером. Вот

дом после церкви, его я тоже прекрасно помнил. Церковь стояла, белая и красивая, с невысокой колокольной, между этими двумя домами, и пройти мимо нее, не заметив, было невозможно. На доске объявлений рядом с воротами висела вчерашняя афиша, призывавшая пражан и туристов послушать Реквием Моцарта, начало в 20 часов.

Вчера в 20 часов улица была пустынна, людей, спешивших на Моцарта, не было, как не было и самой церкви св. Сальватора.

Я не знаю, как объяснить случившееся. Не хочу рассуждать о судьбе, о пересечении миров, о том, что «некто» свыше не хотел, чтобы мы послушали Моцарта в церкви св. Сальватора. Я описал то, что мы видели, слышали и ощущали. У меня есть гипотезы, но не в них суть. Просто – так было...

Часть 9

МОИ БИБЛИОТЕКИ

Помню первую свою книгу – обложку и название. И совсем не помню содержание. Книга была тоненькая, как брошюра, какого-то рыжего цвета и называлась «Повесть о корейском мальчике». Читать я еще не умел, а других книг – сказок, например, – дома, по-видимому, не было (иначе почему мне их не читали в то время?). И мама читала мне эту книгу всякий раз, когда начинала кормить. Я не помню дат, конечно, и привязываю это воспоминание к определенному времени лишь по тому, что читать еще не умел, но буквы еще кое-как различал. Значит, было мне лет пять, вряд ли больше, и, следовательно, год это был 1949-й. Война в Корее еще не началась, но судьба корейского мальчика, похоже, уже тогда волновала наших детских писателей. С едой (и деньгами, чтобы ее купить) в доме были проблемы, и помню, моей основной едой был стакан молока или мацони (домашнего грузинского продукта, похожего на простоквашу), куда мама крошила хлеб, а иногда еще и зеленый лук. Вкус этой еды помню до сих пор и до сих пор люблю кефир (или сметану) с накрошенным туда зеленым луком. Мама меня кормила, потому что аппетита у меня никакого не было, и читала о грустной (наверно, грустной) судьбе неизвестного корейского мальчика.

Потом я научился читать и начал читать сам, и первой книгой, какую запомнил, был толстый том большого формата (я с трудом удерживал его в руках): «Азербайджанские народные сказки». Темно-зеленая потрепанная картонная обложка с рисунком, похожим на персидский ковер, и буквы

(русские, естественно) под арабскую вязь. Дэвы, ифриты, шахи, бедняки, побеждающие врагов ради женитьбы на дочери хана или шаха... В общем, это все не так сильно отличалось от русских сказок, которые читал потом – антураж, конечно, разный, но смысл, фабула и даже сюжетные линии очень похожи.

А потом какой-то провал в памяти – во всяком случае, в памяти о прочитанных книгах. Знаю – из рассказов мамы, – что читал в первых классах школы довольно много, но – ничего не помню, только эту большую книгу сказок.

Следующее «книжное» воспоминание – уже фантастика. Шестой класс. Я увлекся астрономией и записался в астрономический кружок Дворца пионеров. Тогда (или чуть раньше, не помню последовательности – то ли книги привели меня в кружок, то ли кружок – к книгам) и появились у меня прекрасно изданные книги тогдашнего замечательного популяризатора астронавтики Ари Штернфельда о космических полетах. Книги большого формата, с большим количеством цветных иллюстраций: изображением ракет, Луны, планет, орбит... И книги Якова Перельмана, конечно, в середине пятидесятых эти книги стали выпускать большими тиражами, и я по много раз перечитывал «Занимательную физику», «Занимательную математику» и особенно «Занимательную астрономию».

Но это – книги научно-популярные, а что я читал из художественной литературы? Помню «Муму» Тургенева, «Каштанку» и «Ваньку» Чехова – это были небольшие брошюры, в каждой по рассказу, без иллюстраций, только на обложке картинка, каждую из них помню и сейчас, хотя и не уверен, что помню правильно и именно то, что действительно было изображено: память, как известно, вещь коварная и, бывает, услужливо подсовывает картинку, которую ты не столько видел в действительности, сколько предполагаешь, что мог видеть именно ее.

Возможно, нам задавали читать эти книги в школе – не помню. Первое мое очень яркое воспоминание о книге после перерыва: это «220 дней на звездолете» Георгия Мартынова, книга, вышедшая в знаменитой «рамочке» – детгизовской серии «В мире фантастики и приключений». Первая художественная книга о межпланетном полете, которую я увидел на полке и, естественно, прилип взглядом. Дело было в квартире моего школьного приятеля Юзика Гу-



ревича, я не так часто бывал у него дома, чаще он приходил ко мне или мы гуляли на улице (вместе с другим моим школьным другом Сашей Михайловым, который тогда еще не получил свою кличку Тромбон, прилипшую к нему на всю жизнь).

Жили Гуревичи несравненно лучше, чем мы. Мама Юзика, насколько помню, была врачом. Кажется, и папа тоже. Во всяком случае, у них была хорошо обставленная квартира (не помню – чем обставленная, но у меня возникало ощущение богатого дома, не то что у нас). Что помню точно, будто и сейчас вижу перед глазами: книжный шкаф со стеклянными дверцами, полностью заставленный книгами. Десятки книг – потрясающее, по моим понятиям, богатство. И среди корешков светло-серый с голубоватым отливом – с узорами, которые с тех пор запомнил прочно и навсегда. Помню, как стоял и смотрел, и не решался протянуть руку, чтобы достать книгу, потому что в правом верхнем углу дверцы шкафа был прилеплен довольно большой лист бумаги, на котором было написано от руки:

Не шарь по полкам жадным взглядом,
Здесь книги не даются на дом.
Лишь безнадежный идиот
Знакомым книги выдает.

Я не считал Юзика идиотом и понимал, что книгу так и не прочитаю. Он, видимо, обратил внимание на то, как я разглядывал книги за стеклом, и я помню момент, когда «220 дней на звездолете» оказалось у меня в руках. Не толстая книга – страниц двести. Я ее листал, не мог оторваться, и для меня было сделано исключение. «Возьми домой, если хочешь», – сказал Юзик, переговорив с отцом. И я взял.

Описать свои впечатления от этой, вообще-то, довольно слабой повести я не могу. То есть, то, что повесть была слабая и дидактичная, я понял много лет спустя, когда пытался перечитать книгу и не смог. Но тогда! Полет на Марс! Американцы строят козни советским, хотят опередить «наших», но им это, понятно, не удастся...

Это воспоминание можно, наверно, назвать моим первым библиотечным впечатлением. Почему нет? Взял почитать книгу в домашней библиотеке у школьного приятеля.

Написал это и подумал: ведь были же и другие фантастические книги, которые я читал до Мартынова. И немало! Но вспомнил я сейчас о них, сделав над собой некое усилие. Немцов, Охотников, Сапарин, Долгушин... О них отдельный разговор как-нибудь. Не библиотечный, хотя многие из этих книг я брал именно в библиотеке.

И почти сразу начались другие книжные впечатления. Как-то так почти одновременно во времени сложилось. Оттепель, издательства в середине пятидесятых начали выпускать книги, о которых еще несколько лет назад и мечтать не приходилось. Вышли трехтомник Уэллса и двухтомник Беляева. Книги эти помню так хорошо, будто только что держал в руках, даже запах помню. Тогда впервые прочитал «Машину времени», «Войну миров», «Человека-невидимку», беляевские «Человека-амфибию», «Звезду КЭЦ»...

И еще более сильное впечатление произвел Жюль Верн. Как раз тогда была подписка на двенадцатитомное собрание сочинений (эти книги и сейчас стоят у меня на полке, потрепанные, но живые). Подписка – отдельная песня. Уэллса и Беляева я купил в книжном магазине – тогда еще можно было купить книгу, просто придя в магазин. Правда, нужно было успеть – такие книги заканчивались быстро. Утром пришел – лежат, к вечеру уже нет, раскупили.

На первом этаже нового, послевоенной уже постройки, восьмизэтажного дома на проспекте Нефтяников (бывшем Сталина) – напротив приморского бульвара – находился магазин подписных изданий. И в те годы начался подписной бум – чуть ли не каждое воскресенье проводили подписку на чье-то собрание сочинений. Недели за две перед этим на дверях магазина вывешивали большое объявление о том, что в воскресенье, такого-то числа, будет подписка на собрание сочинений такого-то автора. На магазин выделено столько-то подписок (обычно 200-300. Самое большое количество, что я помню – 1100: на собрание сочинений Чехова). В тот же вечер перед магазином собиралась толпа, тысячи две минимум – записываться в очередь. При магазине работал Клуб читателей, и люди, этим клубом назначенные, вели запись. Каждое утро устраивали переключки, и тех, кто не откликнулся, из списков вычеркивали. В субботу народ собирался с вечера, люди ночевали на улице, чтобы не упустить очередь, потому что в ночь на воскресенье переключки устраивали каждые два-три часа, и кто не откликнулся, оставался без подписки.

Муж моей двоюродной сестры Жени был членом Клуба читателей, так что имел некоторые преимущества – получал номер вполне проходной, и меня тоже записывал на относительно неплохое место. Но надо было лично присутствовать при переключках, а меня мама, понятно, в такую рань не отпускала из дома, тем более – на ночь. И потому мне всего несколько раз удалось подписаться. Первый раз – именно на



Приморский бульвар. В доме напротив размещался магазин подписных изданий, шестидесятые годы.

Жюль Верна.

Как пахли эти книги! Запах свежей типографской краски и сейчас помню, и чувствую его, когда беру в руки эти старые серые тома. Каждый том перечитывал раз по десять. Не только Жюль Верна – и Беляева, и Уэллса. Через год собрание Беляева переиздали, добавив третий том, и я был в восторге от опубликованного там «Ариэля».

Библиотека появилась в моей жизни тоже в те годы. Это была Библиотека имени Ленина, в самом центре города, около так называемого Парапета – самого популярного в Баку сквера, где под Новый год ставили самую большую в Баку елку, а рядом с Парапетом находился самый большой тогда в Баку книжный магазин. Вообще это было самое «культурное» место в городе: библиотека, книжный магазин, кинотеатр, Музей литературы имени Низами...

Библиотека была большая, двухэтажная, мне она казалась немислимо огромной. Детей туда записывали неохотно. Сейчас мне кажется, что вообще не записывали, но я-то там

каким-то образом оказался, причем в школьные еще годы, потому что – опять же, точно помню, – когда учился в университете, то записался уже в Республиканскую публичную библиотеку имени Ахундова – она только открылась в новом, специально для нее построенном здании, с одной стороны от которого был оперный театр, а с другой – сквер имени 26 Бакинских комиссаров.

В Ленинку меня, кажется, привел отец, причем не в отдел художественной литературы, а в отдел науки – я в те годы посещал астрономический кружок во Дворце пионеров, много читал всякой научно-популярной литературы, и ее не хватало – все такие книги, что были в магазинах, мне купили, Перельмана я зачитал чуть ли не до дыр, тогда отец и повел меня в самую большую в городе библиотеку и кого-то там уломал, чтобы ребенка записали.

Библиотека размещалась в дореволюционной постройке трехэтажном доме. На первом этаже были книжные магазины – обычный и букинистический. А библиотека – на втором и третьем. Второй этаж – художественная литература, а третий был устроен странно. Собственно, это и не этаж был, а широкий балкон, который шел над большим читальным залом второго этажа. Там, на балконе, и стояли вдоль стен стеллажи с книгами по всяким наукам. В те годы еще не было к книгам свободного доступа, нужно было посмотреть каталоги, выбирать, спрашивать библиотекаря, он шел к полкам, находил нужную книгу... Сверху, с балкона, было видно, что внизу к стойке библиотекарей стояла очередь, а на балконе очередей никогда не было, да и вообще у меня складывалось ощущение, что, кроме меня, никто на балкон не поднимается – я никогда не встречал там других читателей. А библиотекаршу хорошо помню, она была очень похожа на мою первую учительницу в начальной школе – Любовь Григорьевну Крюченкову. Такая же полная, с широким лицом и светлыми пышными волосами. Лет ей (и учительнице, и библиоте-

карше) было, наверно, ненамного больше сорока, но казалась она мне глубокой старушкой, типичной библиотечаршей, только так я и представлял этих женщин, охранявших книги. Сначала она меня внимательно выслушала, а я, видимо, довольно сбивчиво объяснил, чего хочу. Как бы то ни было, то ли сразу, то ли потом она разрешила мне самому подходить к полкам и копаться в книгах, разумеется, не нарушая порядок. В отделе астрономии книг было довольно много – конечно, все книги Штернфельда, книги Воронцова-Вельяминова, Опарина, Струве (дореволюционное издание!).

Не было специального стеллажа с научно-популярными книгами, они стояли впережку с научной литературой, так что я копался и в таких книгах, в которых ничего понять не мог. Но все равно открывал, смотрел на формулы и графики и мечтал о том, что когда-нибудь все это станет мне знакомо и понятно.

Книги в Ленинке можно было брать на дом – не больше трех (или пяти?) за один раз. На две недели. Сначала я перечитал там все научно-популярные книги, потом пытался читать научные. В то же время в астрономическом кружке Дома пионеров наш руководитель Сергей Иванович Сорин много рассказывал о теоретических основах астрономии и астрофизики, так что книги из библиотеки служили хорошим подспорьем.

Выбрав книги, я передавал их библиотечарше (жаль, что не запомнил ее имени-отчества), и после того, как она записывала их в формуляр, а я, как взрослый, ставил свою подпись, мы какое-то время беседовали на разные темы, не всегда связанные с книгами и наукой. Читателей все равно не было, никто не мешал, а о чем конкретно мы говорили, я, конечно, уже не помню. Но помню, что я сам себе удивлялся. Дело в том, что был я ребенком очень стеснительным, с незнакомыми людьми никогда не заговаривал, даже со знакомыми держался скованно. То ли из-за этой стеснительности,

то ли по иной причине, но говорил я очень быстро, так быстро, что меня часто просто не понимали и просили повторить. Или переставали слушать, а я, соответственно, переставал разговаривать. Я даже здороваться стеснялся, из-за чего взрослые, не знавшие этой моей особенности, на меня обижались и, бывало, жаловались маме: почему, мол, ваш сын такой невежливый, прошел мимо и не поздоровался. Я не был невежливый, я был стеснительный. Но с библиотекаршей мы довольно быстро нашли общий язык, в астрономии я уже был довольно начитан, так что не только она мне о чем-то рассказывала, но и я ей – о разных планетах, звездах и космических полетах.

Через год или два – видимо, тогда, когда я получил паспорт – меня записали и в отдел художественной литературы, так что, поднимаясь в библиотеку, я сначала на втором этаже менял книги, а потом – на балкон, где и проводил долгое время, хотя, насколько помню, вскоре мне там стало нечего читать: научно-популярных книг было в те годы не так уж много, и я их все «зачитал» за один учебный год, а серьезная научная литература была мне по-прежнему не по зубам. Так что в те последние школьные годы я больше разговаривал с библиотекаршей, чем копался в уже известных и несколько раз читанных книгах.

Постепенно интересы сместились – точнее, когда читать на балконе стало совсем нечего, я переключился на художественную литературу. Прежде всего, хотел читать фантастику. Научную. Желательно – о космических полетах. Приключенческие романы – Майн-Рид, Купер, Саббатини, Эмар – меня привлекали гораздо меньше. Купер вообще казался скучным. Майн-Рида я довольно быстро прочитал от корки до корки (пятитомное собрание, на которое был подписан муж моей кузины, а мне подписка не досталась), а вот Дюма читал с удовольствием и перечитывал. «Три мушкетера», «Королеву Марго», а больше, кажется, в те годы ни-

чего и не было – помню, что «Графа Монте-Кристо» и все продолжения «Трех мушкетеров» я читал уже значительно позже, когда появилась «макулатурная литература».

А из советской фантастики я брал в библиотеке то, что тогда выходило: Казанцева, в первую очередь, а потом Немцова, Охотникова, Сапарина, Долгушина, Адамова...

Помню, как я в первый раз взял в Ленинке книгу Казанцева. Это был «Пылающий остров», маленькая, вроде современных покетов, но в твердом переплете, толстая книга издательства «Трудрезервиздат». В этом издательстве выходила серия фантастики и приключений, и книги этой серии я впоследствии перечитал практически все – они были в библиотеке, да и в книжных магазинах появлялись. «Пылающий остров» меня потряс почти так же сильно, как незадолго до того книга Мартынова «220 дней на звездолете». Потрясла идея о том, что Тунгусский метеорит мог быть межпланетным кораблем, прибывшим с Марса и потерпевшим крушение над сибирской тайгой. Впоследствии я много времени посвятил изучению проблемы Тунгусской катастрофы, прочитал много книг и статей, разобрался в десятках гипотез и сам написал довольно внушительный труд «Следствие по делу о катастрофе», который должен был выйти (это было уже в восьмидесятых годах) отдельной книгой в издательстве «Детская литература», но там не сложилось, и работу эту в сокращенном виде опубликовал в двух номерах журнал «Химия и жизнь». Но когда я читал «Пылающий остров», до тех моих изысканий было еще далеко, и я верил всему, что писал Казанцев. Книгу эту я перечитывал много раз. Лет через двадцать взял в руки новое издание и не смог дочитать даже до пятидесятой страницы. Дидактично, скучно, шаблонно... Наши хорошие, американцы плохие, злые капиталисты хотят погубить планету, сжигают ее атмосферу, но наши вовремя добиваются победы... и все в таком духе. Но это

было потом, а тогда я с удовольствием читал и перечитывал, а потом брал и другие книги Казанцева: «Арктический мост», «Мечте навстречу»...

Я даже Немцова, Охотникова и Сапарина по много раз перечитывал – «Золотое дно» и сейчас помню довольно детально. Мне это в те годы казалось замечательной фантастикой – не такой увлекательной, как «220 дней на звездолете», но все же...

А в 1956 году «Техника-молодежи» опубликовала (отпель все-таки, начали печатать и зарубежных фантастов!) повесть Эдмонда Гамильтона «Сокровища Громовой Луны», и мое потрясение не имело границ. Оказывается, пока «наши» пишут об электрических тракторах и освоения нефтяных залежей морского дна, эти «злые американцы» описывают приключения героев на других планетах! И какие приключения! Поиск левиума – материала, который обладает антигравитационными свойствами! Таких идей у советских фантастов не было, разве что в «Ариэле» Беляева и «Блестящем мире» Грина (вот еще один писатель, о котором могу рассказывать долго и с восторгом!), но у них это скорее была красивая сказка, а повесть Гамильтона оказалась самой настоящей научной фантастикой. Один из героев погибал на Громовой Луне со словами: «Так я всегда и хотел умереть: с бокалом вина из рук красивой женщины!» Какое же впечатление произвела на меня эта фраза, если я запомнил ее на всю жизнь!

И вот, подготовленный уже к тому, что может вот-вот появиться новая фантастика, я открыл первый номер «Техники-молодежи» за 1957 год. Большую картинку на странице начала публикации «Гуманности Андромеды» Ефремова я тоже помню сейчас, будто увидел даже не вчера, а сегодня. Впрочем, эта картинка хорошо всем известна, ее много раз перепечатывали. Журнал я тогда уже не в библиотеке брал, а выписывал, хотя подписаться на «Технику-молодежи» было трудно. Но в Музее Ленина, где работал отец, были осо-

бые квоты, и он смог подписаться.

* * *

В то время в библиотеках не было прямого доступа к полкам с книгами. На прилавке перед библиотекарем лежало десятка два только что сданных книг, эти книги можно было полистать и записать на свою карточку. Если ничего не находил, то называл библиотекарьше книгу, которую хотел бы почитать, и она говорила: «Сейчас этой книги нет в наличии. Если хотите, запишу вас в очередь. Когда книгу сдадут, я ее для вас оставлю». Или, если ей казалось, что книга на полке, она шла ее искать. Чаще не находила (компьютеров, понятно, не было, а память человеческая не беспредельна), возвращалась и спрашивала, чего я хочу еще. Чтобы ей несколько раз не ходить, обычно называли три-четыре книги, из которых она приносила одну-две. Бывало (чаще всего), что читатель не знал, какую конкретно книгу хочет, а так... «что-нибудь про любовь», «мне бы фантастику», «а историческое у вас есть?». И библиотекарьша выбирала на свой вкус, а поскольку вкус человека тоже не беспределен, как и память, то выбирала определенные книги, они и были в ходу и пользовались популярностью у читателей. А другие годами стояли на полках, никто о них не знал, никто их не спрашивал.

Конечно, в библиотеке был каталог, книги были распределены по темам, но читатели каталогов не любили, пользоваться в большинстве случаев не умели, предпочитали поговорить с библиотекарьшами. Да и действительно – пришла, скажем, женщина за любовным романом. Но в каталоге такой рубрики не было, а были, например, «русская советская литература» и «зарубежная литература». И где там про любовь? «Бруски» – про любовь? А «Поднятая целина»? Или «Белый клык»?

Потом уже, в шестидесятых, когда я подросток и стал более или менее разбираться в книжном море, мне стало казаться, что повзрослели вместе со мной и читатели Ленинки, чаще

пользовались каталогами, чаще знали чего хотят. По себе судил, конечно. К тому времени ассортимент книг возрос – вышли десятки (или даже сотни?) подписных изданий, полных собраний сочинений классиков, а в середине шестидесятых в Ленинке открыли доступ к полкам – произвели перестановку в большом хранилище, и в первое время, помню, бродил я от полки к полке, от стеллажа к стеллажу, доставая ту или иную книгу, перелистывая и ставя обратно. Решительно не знал, на чем остановиться, разбегались глаза, хотелось и то почитать, и это, и вообще все сразу. Как-то выбирал, конечно. В большинстве случаев – что-нибудь из фантастики, приключений. Советская фантастика после «Туманности Андромеды» набирала силу, но все равно в год выходило несколько новых книг, вряд ли больше десяти. Естественно, за ними выстраивалась очередь, и тот, кто не успевал записаться в числе первых, ждал книгу месяцами.

Иногда, правда, удавалось купить фантастику в магазине – если оказаться там точно в тот момент, когда новые поступления выкладывали на прилавок. Постоянные покупатели знали, когда это обычно происходило, и приходили в положенное время. Но выложить могли в полдень, могли перед открытием магазина, могли в конце дня. В общем, никакой гарантии – а если опоздать хотя бы на полчаса, то книги уже не было, и продавцы только разводили руками: раньше, мол, надо было прийти, что ж теперь делать? Вот во вторник, может, будет вторая партия...

* * *

Когда я перестал ходить в Ленинку? Не помню точно. Наверно, где-то на втором или третьем курсе. Если мне память не изменяет, то именно тогда в центре города, между сквером имени 26 Бакинских комиссаров и оперным театром построили большое здание с колоннами – там открыли Республиканскую Публичную библиотеку имени Ахундова. В



Республиканская библиотека им. М.Ф. Ахундова.

публичке книг на дом не выдавали, но зато секция каталогов там была раз в пять больше, чем в Ленинке. Там в одних только каталогах можно было закопаться на день и с удивлением находить названия, о которых никогда не слышал. В публичке я стал проводить вечера, а часто и дни тоже – после занятий в университете или вместо них. Помню, как рассматривал огромный звездный атлас под редакцией академика Михайлова – цветные карты всего звездного неба от северного полюса до южного. Звезды там были разных цветов – согласно их спектральному классу – и обозначались кружками разного размера – согласно яркости. И туманности там были, и даже галактики – самые яркие, конечно.

Чаще, чем в книжный зал, я ходил в зал журнальный. Книжный располагался на втором этаже и был огромным (по моим тогдашним представлениям) – высокие окна до потолка выходили в сторону оперного театра, и, сидя за столом, я мог видеть знакомый фасад: в оперу я в те годы ходил почти каждый вечер – раза два-три в неделю точно.

А журнальных залов было два, и оба маленькие, размещались они на первом этаже, и чем один зал отличался от другого, я уже не помню. Возможно, в одном были худо-

жественные журналы, в другом политические и научные. А может, разделение шло по другому принципу. Как бы то ни было, именно там я читал журналы «Сибирь» и «Ангара» – нигде больше в Баку этих журналов не было, ни одна библиотека их не выписывала. Не помню, откуда я узнал, что в этих журналах можно прочитывать новые повести братьев Стругацких. Возможно и даже, скорее всего, об этом заговорили на черном книжном рынке, куда я уже ходил почти каждое воскресенье (о черном рынке я расскажу отдельно, это особая песня).

Стругацкие мне, конечно, очень нравились. В то время уже вышли «Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» (детгизовское издание с прекрасными иллюстрациями), «Хищные вещи века». Позднее это казалось странным, но в те годы я покупал книги Стругацких не на черном рынке, а в книжных магазинах – надо было, как я уже говорил, просто успеть к выкладке. На середину шестидесятых пришелся бум в советской фантастике – книг стало много. Появилась серия «Библиотека советской фантастики» – белые «покеты» издательства «Молодая гвардия», там же стали выпускать 15-томную «Библиотеку всемирной фантастики», которую впоследствии расширили до 27 томов. Выходили ежегодники фантастики в «Молодой гвардии», сборники «Мир приключений» в «Детской литературе», «На суше и на море» в Географгизе, альманахи фантастики в Леиздате. Начали выходить сборники зарубежной фантастики и авторские книги Брэдбери, Шекли, Саймака... Издательство «Мир» приступило к выпуску серии «Зарубежная фантастика». Фантастику в каждом номере печатали «Техника-молодежи», «Знание-сила». Даже специальный журнал фантастики и приключений появился – «Искатель». Купить все это в магазинах было невозможно, так что читал я большую часть – особенно журналы – в публичке.

В конце шестидесятых построили новое здание Академии



Академия Наук Азерб. ССР.

наук, а там, естественно, открыли большую научную библиотеку, так что читать научную периодику я стал там и в публичку ходил уже значительно реже.

Новый «этап» моих туда походов пришелся на середину семидесятых, когда в публичке, на самом верхнем этаже, при кабинете музыкальной литературы (там были ноты и книги по музыке), открыли еще и кабинет звукозаписи. Естественно, если не в тот же день, то в ту же неделю я туда поднялся – посмотреть, какие у них есть записи. Меня интересовали, в первую очередь, те оперы Верди, которые я не слышал. А слышал я в те годы достаточно мало – в нашей опере шли «Риголетто», «Травиата», «Трубадур», «Аида» и «Отелло». На пластинках фирмы «Мелодия» были еще записи «Фальстафа» и «Бала-маскарада» под управлением Тосканини и «Дон Карлоса» в Большом. В музыкальном кабинете сначала и их не было, но как-то, проверяя в очередной раз каталог, я обнаружил, что появилась запись оперы «День царствования». Это был праздник! Об этой несчастной опере я, конечно, читал в биографии Верди, в книге его писем, в фильме «Джузеппе Верди». Вторая по счету и един-

ственная комическая опера Верди до «Фальстафа», она провалилась на премьере. Публика освистала оперу, хотя зрители прекрасно знали, в каком состоянии был композитор, когда ее писал: у него в тот год умерли сначала двое маленьких детей, а затем – незадолго до премьеры – любимая жена Маргерита. После провала оперы Верди зарекся писать музыку и держал слово, пока импрессарио Мерелли не показал ему либретто «Навуходоносора». Но это другая история, об опере, а не о библиотеке. Прочитав книги, я думал, что «День царствования» действительно опера плохая. Поэтому, обнаружив запись в каталоге, немедленно ее заказал.

Надел наушники, стал слушать. С первого раза трудно оценить совершенно новую музыку, но впечатление радости и какой-то жизненной силы определенно осталось. Хорошая опера. Нисколько не хуже других, что шли на сцене Ла Скала в те годы и принимались благосклонно. Почему освистали именно ее? До сих пор понять не могу.

Я еще несколько раз приходил в музыкальный кабинет, но почему-то оперные записи у них обновлялись, мягко говоря, не очень часто, а новых записей опер Верди не было вообще. И не было записей других опер, кроме тех, что были на пластинках фирмы «Мелодия» – а эти записи у меня и так были, покупал пластинки в магазине. В общем-то, понятно, почему в публичной библиотеке был такой скудный музыкальный отдел. Огромное количество оперных записей выходило на Западе, но в СССР их невозможно было купить, эти пластинки в магазины, естественно, не поступали – откуда же было публичке формировать фонд? Я даже не знаю, как там оказался «День царствования» – возможно, привез из Италии кто-то из наших оперных певцов, как в начале шестидесятых после стажировки привез несколько пластинок Муслим Магомаев. Тогда у него все бакинские меломаны переписали записи «Госки» и «Джоконды». Но это другая история...

А мои походы в публичку вскоре закончились. Была лишь еще одна история, но произошла она лет через десять, когда я писал повесть «Каббалист» (было это в 1987), и мне нужно было прочитать что-то о ведьмах. Желательно – знаменитый «Молот ведьм», но его в каталоге не было, пришлось искать замену, и я нашел книгу о методах черной и белой магии, до-революционное издание с красивыми картинками. Меня, скажу честно, удивило, как такая явно не «советская» литература оказалась в библиотеке, но раз уж оказалась... Книгу принесли, и я весь вечер ее листал. Когда хотел приступить к чтению, оказалось, что уже половина десятого вечера, библиотека закрывается. Пришлось книгу отложить на завтра – обычное дело, много раз так делал.

На следующий вечер книгу среди отложенных не нашли. Библиотекарша очень извинялась, говорила, что, видимо, по ошибке книгу сдали в фонд. «Закажите еще раз». Пошел в каталожный зал писать заказ заново. Но в каталоге книги не оказалось! Я точно помнил, где была карточка, точно помнил, что в ней было написано. Но карточки не было. Я пересмотрел все карточки в ящике – ничего. Похоже, книга была раньше в спецхране, где и положено было в СССР находиться такой литературе, а в общий фонд попала по ошибке. И когда я эту книгу заказал (впервые за много лет), ошибку кто-то обнаружил и тут же исправил. Так мне и не удалось в те годы прочитать о методах черной и белой магии...

* * *

Странно, но, проучившись пять лет в Азербайджанском Государственном университете имени С.М. Кирова, я ничего не могу вспомнить об университетской библиотеке. Ведь наверняка бывал там, брал какие-то книги, но – не помню. Когда мы учились на втором курсе, Университет переехал из центра города в новое помещение на задворках огромного десятиэтажного здания Академии Наук. Помню каждую ау-

дигорию, где нам читали лекции, каждую комнату, где мы проводили лабораторные работы и сдавали экзамены, помню деканат, коридоры, лестницы и актовЫй зал. И совершенно не помню библиотеку! Странно все-таки устроена память. Ну и ладно – не помню и не помню. Значит, и рассказывать не о чем.

А вот обсерваторскую библиотеку помню, будто только сегодня бродил между стеллажами и делал выписки из журналов за столом в читальном зале. Помещалась библиотека на первом этаже так называемого Главного здания. Это было не очень-то презентабельное с виду двухэтажное строение, расположенное сразу при въезде на территорию обсерватории со стороны Шемахинской дороги. В библиотеке были две большие комнаты – в одной располагался читальный зал, в другой – фонд. Окна читального зала выходили в сторону научного поселка, а в фонде окон не было вообще. Литература там была, конечно, научная – астрофизика, физика, математика.

Из ненаучного ассортимента библиотека получала газеты и два-три журнала: помню «Огонек», «Смену», «Здоровье»...

Когда я начал работать (в 1967 году), обсерватория – и ее библио-



Главное здание обсерватории.

тека – была еще молодой, ей не было и десяти лет, и фонд был не так уж велик, на полках оставалось много свободного места, постепенно заполнявшегося журналами и книгами. Естественно, доступ в фонд был свободный, и мне больше

нравилось проводить время там, стоя у стеллажа и перелистывая нужный журнал, чем сидеть в зале.

В 1979 году наша лаборатория перешла из структуры Шемахинской обсерватории в штат Института физики АН в Баку, мы перестали ездить в Пиркули и обосновались в академгородке.

Занимались мы в нашей лаборатории «теории звездных атмосфер» исследованием астрофизических проявлений релятивистских звезд: нейтронных звезд и черных дыр (тогда это название не было общепринятым, и мы пользовались обозначением, придуманным академиком Я.Б. Зельдовичем: коллапсары, коллапсирующие звезды). Название лаборатории «физика звездных атмосфер» никак не соответствовало содержанию наших работ. Почему лабораторию назвали именно так, я понять не мог и сейчас не понимаю. Шеф туманно объяснял, что в Академии не утвердили правильную со всех точек зрения «лабораторию релятивистской астрофизики», вот и придумали отвлекающее название. Кому и почему наверху не приглянулось правильное название, ума не приложу. Кто-то усмотрел в слове «релятивистский» что-то антисоветское, вроде философского релятивизма, чуждого марксизму? Не знаю. Как бы то ни было, я 23 года проработал в лаборатории физики звездных атмосфер, имея об атмосферах обычных звезд весьма приблизительное представление.

Итак, занимались мы поиском нейтронных звезд и черных дыр в Галактике: изучали, сколько таких объектов может быть, как они себя проявляют, по каким признакам их нужно искать на небе. В оптическом диапазоне в те годы обнаружить нейтронную звезду или черную дыру было невозможно, искали их или в радиодиапазоне (пульсары), или в диапазоне рентгеновском. Рентгеновскими исследованиями в космосе (именно эти данные нам и были нужны в первую очередь) занимались в те годы только американцы, а результаты на-

блюдений на ракетах и спутниках публиковались в *The Astrophysical Journal* и других иностранных журналах.

Библиотека АН эти журналы не выписывала, у Института физики тоже не было денег выписывать непрофильные журналы (астрофизика профилю института не отвечала – основным направлением исследований там была физика твердого тела), а читать иностранную литературу нам было необходимо. Но не ездить за журналами в обсерваторию за 140 километров! Пришлось «выкручиваться». Когда в Академию поступали свежие номера журналов, их, прежде чем отправлять по организациям, выставляли в большом читальном зале академической библиотеки. И мы (говоря «мы», я понятно, имею в виду не себя лично, а всех сотрудников лаборатории), увидев новый номер, немедленно его просматривали, отмечали статьи, которые были нам нужны для работы, и шеф, руководитель лаборатории Октай Гусейнов, составлял довольно длинный список отмеченных статей. Список передавали в академическую библиотеку, при которой был единственный в Академии ксерокопировальный аппарат. В библиотеке список визировали отвечавшие за «секретность» люди из первого отдела. После этого журналы поступали к копировщикам, те делали ксерокопии нужных нам статей, сдавали обратно в библиотеку, и неделю спустя кто-нибудь из нас забирал толстую папку с ксерокопиями. Все академические институты пользовались этой возможностью, но копировальный аппарат был один, можно представить, как он был загружен. Часто копии получались такими «слепыми», что для чтения нужно было пользоваться лупой, а то и прибегать к криминалистическим методам: смотреть «на просвет» или просто догадываться, какое там написано слово. А если дело касалось формул и графиков... В общем, чтение ксерокопий зачастую было приключением, и за точность прочитанного порой ручаться было невозможно. И сверить копию с оригиналом тоже не получалось, поскольку к

тому времени журналы снимали с полки новинок и отправляли в обсерваторию, за 140 километров...

А в комнате, где располагалась наша лаборатория, заполнились полки с ксерокопиями статей. Эта практика продолжалась много лет – по крайней мере, вплоть до моего отъезда в Израиль. Ксерокопии и до сих пор, сложенные в папки, хранятся в шкафах. Несколько лет назад моя дочь Инна ездила в Баку. Зашла она по моей просьбе и в Институт физики, в мою бывшую лабораторию, поговорила с моими бывшими сослуживцами, сфотографировала – и я с ностальгическим удивлением увидел в шкафах старые папки с надписями, сделанными моей рукой... И шкафы те же, и звездная



Шкафы с ксерокопиями, 2007 год, папки еще те...

карта на стене... Время в лаборатории будто застыло, и только мои бывшие сослуживцы состарились на двадцать лет...

Вернусь, однако, к библиотеке обсерватории. Собирали ее, видимо, с миру по нитке – там были и новые книги, выпущенные в шестидесятых годах, и старые, многие со штам-



Коллеги в 2007 году. Сидят Фикрет Касумов (слева),
Хейран Новрузова и Ахад Алекперов.
Стоят Исмаил Исмаилов (слева) и Абдул Асваров.

пами других библиотек, а некоторые книги были еще дореволюционного издания. В те годы я ими не очень-то интересовался – для моей конкретной работы в них не было ничего нужного. Старые книги вошли в мою жизнь лет пять или шесть спустя, когда все полки в фонде оказались заполнены новыми книгами и журналами. Старые мешали появлению новых, увеличить размер комнаты-фонда было невозможно. Предоставить библиотеке еще одну комнату в главном здании дирекция не торопилась, да и откуда было взяться свободному помещению? Решено было старые издания списать.

Помню большую грудку книг и журналов, сваленную на полу в читальном зале. В фонде появилось довольно много свободных полок, а сотрудникам предложили взять себе любое количество списанных книг и журналов – хоть все сразу. Остальное предполагалось предать огню.

Копаясь в этой грудке, я впервые внимательно осмотрел дореволюционные книги. Когда они стояли на полке, мне казалось, что ничего интересного в них нет. Теперь я с изумле-

нием обнаруживал на первых страницах экслибрисы и штампы людей и организаций, в чьих библиотеках эти книги находились прежде. Открытие меня потрясло! На первой странице «Астрономии» Фламариона были экслибрисы графа Разумовского (кто такой? Были ли в Баку Разумовские? Понятия не имею), известного бакинского магната и нефтезаводчика Таирова (в его красивейшем особняке в центре города размещался Музей истории Азербайджана) и еще не помню уже чьи экслибрисы – каких-то людей без титулов, к кому, видимо, попала книга уже после революции. Дальше были штампы уже государственных библиотек – не одной, а нескольких.

Два огромных тяжелых тома я не смог отдать на сожжение. Забрал, и они еще очень долго стояли у меня дома. Более того, я взял их с собой, уезжая в Израиль, положил в контейнер, отправляя багаж, и бдительные таможенники, не позволившие отправить любимые грампластинки (как же! народное достояние!), не обратили на это «старье» внимания.

Название у обеих книг было одно и то же: «Астрономия». Автором одной был немецкий профессор Миллер, книга вышла в 1889 году. Прекрасные черно-белые иллюстрации, фотографии небесных тел, сделанные с помощью самых лучших телескопов того времени, рисунки созвездий с изображениями из атласа Гевелия. Но не это было самое привлекательное. Очень хороший текст – по идее, эту книгу можно было бы переиздать и сейчас. Не всю, конечно – тогда еще не было даже известно, что существуют другие галактики, астрономическое знание за почти полтора века ушло очень далеко вперед. Но основные положения астрономической науки были изложены прекрасным языком, а математические основы астрономии – системы координат, например, – остались неизменными.

Настоящим же раритетом (и это понимал даже я, небольшой знаток старинных книг) была «Астрономия» неизвест-

ного автора (его имени не было на обложке), опубликованная в год Великой французской революции, 1789! Написана она была не так интересно, как книга Миллера, я бы даже сказал – довольно скучно, но «изюминка» заключалась не в этом. В книге много рассказывалось о созвездиях, практической астрономии, о движении планет, о системе Птолемея. И о том, что существует еще и система Коперника, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля, но эта система пока не общепринята и надежно не доказана. И это было написано в конце 18 века, через полтора столетия после Коперника! То ли неизвестный автор был ужасным консерватором и ретроградом, то ли даже в век Просвещения далеко не все ученые, в том числе астрономы, верили в правоту Коперника...

Сейчас этих книг у меня уже нет – я их, конечно, не выбросил, но домашняя библиотека так разрослась, что стало не хватать места, и кое-какие книги я отдал в русскую библиотеку в Иерусалиме. Среди книг, переданных в Иерусалимскую русскую библиотеку, были и эти две «Астрономии». Они упокоились там, где им изначально и положено было находиться – в отделе старинных и редких книг.

Когда лаборатория переехала в Баку, место обсерваторской библиотеки в моей жизни заняла академическая. Располагалась она на втором этаже главного здания Академии, занимала почти весь этаж. Весь штат обсерваторской библиотеки состоял из одного человека – библиотекарши, причем так уж получалось, что работали там замечательные женщины, но по образованию своему они не имели никакого отношения не только к астрономии, но и к библиотечному делу. Это были выпускницы Института иностранных языков, они прекрасно читали и говорили по-английски – наверно, это и было если не причиной, то поводом для приема на работу. Ведь наши сотрудники с английским были не в ладах, а основная астрономическая литература была (да и сейчас

осталась) на английском. Без языка – никак.

В академической библиотеке штат был куда больше – десятки сотрудников, все с высшим библиотечным образованием. Из чего, впрочем, не следовало, что в библиотеке легко было найти нужную книгу. Мало быть специалистом по библиотечным делам, надо еще ориентироваться в науках.

Академическая библиотека запомнилась мне не тем, что там было много литературы по специальности, а работой над научно-популярными книжками для издательства «Знание» и над книгой, которая так и не вышла в свет и называлась «Следствие по делу о катастрофе».

История была такая. В середине восьмидесятых годов я предложил издательству «Детская литература» заявку на серию научно-популярных книг, которые были бы построены как научные детективы с тремя персонажами: Сыщиком, Следователем и Экспертом. Эти персонажи расследуют научные загадки, пользуясь криминалистическими методами: опрашивают свидетелей (ученых), собирают улики (данные экспериментов и наблюдений), анализируют следственные версии (научные гипотезы)... Предложил несколько тем, среди которых были и такие: расследование открытия пульсаров и расследование Тунгусской катастрофы. В редакции решили, что про Тунгусскую катастрофу 1908 года читателям будет читать интереснее, и я принялся собирать материал. Кстати, книга-расследование об открытии пульсаров вышла пару лет спустя не в «Детской литературе», а в издательстве «Знание» и называлась «Загадки для знатоков».

О Тунгусском феномене я читал довольно много – особенно после «Пылающего острова» Казанцева. Но одно дело – читать для самообразования, и другое – для того, чтобы самому написать книгу об этом удивительном феномене. Договорившись с издательством, первым делом пошел, конечно, в академическую библиотеку, не очень, впрочем,

надеясь найти какие-нибудь уникальные материалы. Покопавшись в каталогах, обнаружил, однако, Труды конференций, посвященных Тунгусскому феномену и проходивших в разные годы в Новосибирске и Томске. В этих трудах оказалось много интересного, включая ссылки на другие работы, которые, к моему удивлению, тоже нашлись в библиотеке. Несколько редких региональных журналов в академической библиотеке не было, и их для меня выписали по межбиблиотечному абонементу из Москвы. Журналы поступили через месяц-полтора, и я едва не утонул в обилии материалов.

Это были удивительно насыщенные месяцы. Оказалось, что в исследованиях Тунгусского феномена есть множество «подводных камней». И главное было в том, что авторы разных гипотез принимали во внимание информацию, которая их гипотезу подтверждала, а факты, которые гипотезе противоречили, отбрасывали, как недоказанные. Это относилось ко всем без исключения гипотезам, в том числе, основной: о том, что 30 июня 1908 года над Тунгусской тайгой распалось и взорвалось ядро небольшой кометы. И гипотеза Казанцева о катастрофе космического корабля с Марса тоже на какие-то вопросы отвечала, а на какие-то – нет.

Было очень увлекательно, закопавшись в книги и журналы, перебирать одну гипотезу за другой (среди гипотез были очень странные – например, о том, что это был взрыв комариного облака!), искать соответствия и противоречия.

Через несколько месяцев книга о расследовании Тунгусского феномена была готова: десять авторских листов, и я точно знаю, что даже сейчас не вышло более обстоятельного труда, в котором анализировались бы – надеюсь, беспристрастно – десятки гипотез. Отправил рукопись в издательство, полагая, что, как мы и договаривались, книга выйдет к восьмидесятилетию Тунгусского феномена (советская привычка делать всё к какой-то дате была неискоренима). Книгу действительно вроде бы включили в план на 1988 год. А

потом что-то застряло в издательском механизме. К рассказу о библиотеке это отношения не имеет, да я и не помню уже, какую конкретно причину назвало издательство, отказываясь от договора. Кажется, речь шла о том, что в книге слишком много фантастического для научпопа, и слишком много науки для фантастического очерка...

Я уж думал, что многомесячная работа в библиотеке пошла насмарку, но как-то в разговоре с одним из редакторов журнала «Химия и жизнь», куда отправлял свой фантастический рассказ, упомянул и об этой книге. «Пришлите почитать», – попросил он. А прочитав, сказал, что не знает ничего более увлекательного о Тунгусском феномене, это надо немедленно публиковать, но... Всегда бывают «но». В данном



случае «но» заключалось в том, что журнал не издательство и не может опубликовать материал размером в десять авторских листов. Вот если сократить... Например, втрое...

Сократил. Много интересных сведений пришлось опустить. Диалоги и беседы персонажей – Сыщика, Следователя и Эксперта – стали более скупыми. Но, как бы то ни было, «Следствие по делу о катастрофе» было в 1988 году опубликовано в двух номерах «Химии и жизни». Работа в библиотеке не прошла

даром.

Как-то в начале восьмидесятых Институт филологии и лингвистики (кажется, он назывался так, но точно не помню) совместно с академической библиотекой задумал осуще-

ствить фундаментальный труд – создать Большой русско-азербайджанский словарь. И оказалось, что многим русским словам в азербайджанском языке или нет аналогов, или сотрудники института и библиотеки этих слов не знали. Работа застопорилась, и в библиотеке придумали выход.

В холле Главного здания Академии были четыре огромные колонны квадратного сечения. Толщина колонн соответствовала размеру большого листа ватмана. Такие листы и были наклеены на каждой колонне, и всем желающим предлагались русские слова. «Кто знает, как это будет по-азербайджански, пишите!»

Люди в Академии работали серьезные, но не обошлось без шуточных надписей. Тем не менее, эта акция помогла собрать двухтомный русско-азербайджанский словарь.

Когда вспоминают о цензуре, существовавшей в СССР, обычно имеют в виду цензуру внутреннюю. Была, однако, и внешняя – нам позволялось читать далеко не всё, что публиковали поступавшие в академическую библиотеку западные журналы. Довольно часто брал в руки свежий номер «Nature» и обнаруживал отсутствие нескольких страниц – кто-то аккуратно вырезал лезвием листы, чтобы советский человек, не дай бог, не прочитал что-то крамольное. Странно, но проделать такую же вивисекцию со страницей оглавления «там» не додумались, и по оглавлению я видел, что именно мне не было дозволено читать. Обычно это были статьи о положении науки в СССР или о советской экономике.

Странностей с пресловутой цензурой было предостаточно. Американский журнал «Aeronautics and Astronautics» всегда поступал в целостности и сохранности, хотя публиковал сведения, которые «простому советскому человеку» знать было не положено – во всяком случае, советская пресса в те годы ни о чем подобном не писала. Там, например, в каждом номере (журнал был ежемесячным) публиковали таблицы пусков космических аппаратов: откуда был запуск, какая

масса, какая орбита, название аппарата, цель... В нашей печати в те годы не упоминалось название Тюратам – место, где находился космодром Байконур. В журнале же космодром был обозначен: «Тюратам-Байконур». И истинные цели запусков многочисленных спутников серии «Космос» советский человек знать не мог, в сообщениях ТАСС говорилось об «исследовании космического пространства». В американском же журнале ясно говорилось: этот спутник военный, этот навигационный, этот для исследований поверхности Земли. И военных спутников было раз в десять больше, чем гражданских...

Однажды в 1984 году я принес в лабораторию из академической библиотеки свежий номер «Aeronautics and Astronautics», на обложке которого была фотография, сделанная сверху – видимо, с борта самолета. Изображена была палуба какого-то военного корабля, а на палубе стоял самолет не самолет – странная конструкция, напоминавшая американский «шаттл»: очень широкие крылья, гипертрофированно большое хвостовое оперение... Видны были люди, окружившие этот «самолет», и, сопоставляя размеры, можно было понять, что аппарат небольшой, метра четыре в длину.

Внутри журнала была большая статья, где было написано следующее. Американские самолеты следили за маневрами советских военных кораблей в Тихом океане, и однажды пилоты увидели, как с неба спускается какой-то аппарат, похожий на шаттл. За полетом проследили, «самолет» опустился в океан, откуда советские моряки его выловили и подняли на палубу советского крейсера. Дальше в статье шло обсуждение: что бы это могло быть? Основное предположение было: «Советы» собираются запустить свой аппарат типа шаттла. Обсуждался вопрос: обнаруженный аппарат был советским шаттлом в натуральную величину (тогда получалось, что СССР может запускать только маленькие автоматические аппараты) или моделью будущего большого корабля. В жур-

нале были рисунки для сравнения: шаттл «Атлантис», рядом этот «самолет», справа предполагаемый советский шаттл в предполагаемую величину...

Четыре года спустя, когда был запущен и благополучно вернулся советский «Буран», стало понятно, что же происходило в акватории Тихого океана. Испытывали все же модель. Но удивительно – как этот номер журнала пропустила наша бдительная цензура...

* * *

Для меня в понятие библиотеки входил и бакинский «черный книжный рынок». Наверно, потому, что там можно было не только купить книги, но и обменять их – как в библиотеке. Впрочем, черный рынок – это нечто большее, чем библиотека или книжный магазин, это была возможность пообщаться с интересными людьми. С неинтересными, однако, тоже, потому что встретить там можно было и тех, для кого книга была смыслом и содержанием жизни, и тех, кто видел в книге лишь товар, который можно выгодно перепродать.

Собирались книжники каждое воскресенье, не рано, часам к десяти приходили первые «ранние пташки», а бурлить жизнь на рынке начинала обычно часам к двенадцати.

В конце шестидесятых книголюбы собирались на Приморском бульваре, в аллее неподалеку от знаменитой парашютной вышки. Рядом с аллеей люди прыгали с парашютом, а под деревьями прямо на асфальте, на каменных бордюрах, на расстеленных газетах и даже просто на земле лежали



книги. Скамеек в аллее не было, сидеть было не на чем, и продавцы-покупатели вели диалоги, стоя или прохаживаясь вдоль разложенных книг.

Там можно было найти любую выходившую в Советском Союзе художественную литературу. От классики до фантастики и детских книг в ярких обложках. Никакой политики – этим «добром» были завалены магазины. Не было и научной литературы – слишком специфический товар.

Некоторые книги, купленные в шестидесятые еще годы на черном рынке, у меня и сейчас стоят на полке. В основном, это книги серий «Зарубежный детектив» издательства «Молодая гвардия» и «Зарубежная фантастика» издательства «Мир». Именно тогда и именно там, на бульваре, перелистывая только что вышедшие тома, я ощутил всю прелесть игры ума в классическом детективном романе. Прежде я читал шпионские романы Шпанова («Над Тиссой», к примеру, и я далеко не сразу понял, какой это был «шедевр»), детективы Леонова, Адамова – на самом деле это были милицейские романы, – и не представлял, что может быть другой жанр, вроде бы параллельный «милицейским детективам». Конечно, я читал рассказы Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, у меня даже была маленькая книжка, брошюра из «Библиотечки журнала «Огонек», называлась она «Пляшущие человечки», там было три рассказа о Холмсе, и я знал их чуть ли не наизусть. Потом вышел том Конан Дойла в Детгизовской «Библиотеке приключений», но я не имел представления о таких авторах, как Агата Кристи, Джон Диксон Карр, Эллери Квин.

Однажды я взял в руки только что вышедший «Зарубежный детектив», в котором обнаружил повесть Агаты Кристи «Загадка “Эндхауза”». Начал читать, но хозяин книги спросил: «Братъ будешь?». Книга стоила огромную сумму: тридцать рублей. Таких денег у меня с собой не было, да и вообще я еще учился на пятом курсе и, хоть и получал повышенную

стипендию, но что это были за деньги: 45 рублей в месяц... «Беру, – сказал я, – только подожди, принесу деньги».

Как же! Никто никого ждать не собирался, желающих купить «Зарубежный детектив» было много и без меня. Продавец тут же продал книгу кому-то другому. Помню, с каким нетерпением я ждал следующего воскресенья. Через неделю, кстати, цена на книгу упала до двадцатки – видимо, в Баку «приехал» основной тираж, на рынке детективом торговали уже несколько человек, и десятку я тогда сэкономил. Правда, тут же ее и потратил, купив не помню какую книгу из серии «Зарубежная фантастика».

Агату Кристи я перечитывал раз десять – прекрасно знал, кто убийца, но завораживала работа мысли великого Эркюля Пуаро, и я не понимал, почему наши издательства не печатают эти книги большими тиражами. Почему нет подписки на Агату Кристи?

Другое четкое воспоминание – как я там же через год или два взял в руки очередной выпуск «Зарубежного детектива» и, обнаружив неизвестное мне тогда имя Джона Диксона Карра, зачитался «Табакеркой императора» так же, как не мог оторваться от Пуаро. Кристи и Карр (позднее к ним прибавился Эллери Квин) до сих пор остаются моими любимыми авторами классического детектива – жанра, который является, в общем, литературной игрой, достаточно далекой от реальной жизни, но игрой интеллектуальной, сложным и красивым литературным пазлом...

С бакинским черным рынком связано и мое первое литературное разочарование. В конце шестидесятых в сборниках фантастики «Молодой гвардии» вышли мои рассказы «Все законы Вселенной» и «Летающий Орел». Издательство авторские экземпляры не присылало, и оба сборника я купил, конечно, на черном рынке. Наверно, приятно было держать в руках эти книги, но за давностью лет я уже не помню своих тогдашних ощущений.

Зато помню другое. Мой рассказ «Странник» должен был выйти в молодогвардейском сборнике «Фантастика-72». Все шло нормально, мне прислали верстку, я ее подписал, отправил обратно (такие тогда были правила) и стал ждать выхода книги. Понятно, искал ее не в магазинах, а на черном рынке, и однажды действительно увидел: лежит. Заранее приготовив мысленно червонец, взял книгу в руки, открыл на странице, которую знал из верстки, и рассказа не обнаружил! Еще не поняв, что произошло, открыл оглавление (может, рассказ переставили, хотя после верстки сделать это трудновато, да и зачем?), но и там «Странника» не оказалось. Несколько раз перелистал книгу – нет рассказа. Поехал домой, ничего не понимая. Разумеется, в тот же день написал письмо в издательство. Не прошло и месяца, как получил ответ от редактора Светланы Николаевны Михайловой. Оказалось, что уже после верстки сборник ушел «наверх», к главному редактору издательства. Тот, прочитав «Странника», заявил, что такой рассказ может быть опубликован только через его (главного редактора) труп. В чем дело-то? Антисоветская идеология! Точнее – не советская. «Анти» в рассказе ничего не было, наоборот – дело происходит при коммунизме, главный герой – учитель... Но идея – генетическое изменение природы человека таким образом, чтобы он мог жить в космосе без скафандра и путешествовать к звездам «пешком», – оказалась противоречащей марксистско-ленинской идеологии. Вообще-то, я и сейчас не понимаю, что в этой идее крамольного – вполне материалистическая идея, генетические изменения в организме, приспособление к окружающей среде... Но, похоже, даже в начале семидесятых генетика кому-то еще представлялась продажной девкой империализма... Рассказ из сборника выкинули, книгу пришлось переверстать, о чем автору, конечно, сообщено не было.

«Странника», впрочем, все-таки опубликовали – не в «Молодой гвардии», а в альманахе научной фантастики из-

дательства «Знание». Но произошло это семь лет спустя. Более того – рассказ вошел в число лучших, опубликованных в двадцати альманахах НФ «Знания». Обе эти книги я, конечно, тоже купил на черном рынке – каждую по червонцу.

В конце семидесятых, правда, «чернокнижники» собирались уже в другом месте. Причина простая: торговля книгами – спекуляция (конечно, ведь продавали книги раз в десять дороже цены, обозначенной на обложке!). Со спекуляцией государство боролось. Разгоняли книжников регулярно еще и на бульваре. Вдруг с обеих сторон аллеи появлялись, откуда ни возьмись, милиционеры, раздавался возглас «Атас!», и все, прихватив книги и оставив газеты и подстилки, на которых книги лежали, бросались врассыпную. Это было похоже на бегство тараканов с кухонного стола при внезапном включении электричества. Через минуту в аллее оставались только милиционеры. Бегать они ни за кем не собирались, забирали кого-нибудь из зазевавшихся (бывали и такие), им было этого достаточно для отчетности. Через четверть часа люди постепенно начинали возвращаться, а еще через полчаса ничто не напоминало о прошедшей облаве. Бывало, что день проходил мирно, а случались и три-четыре облавы за день. В середине семидесятых кто-то где-то окончательно решил, что Приморский бульвар, да еще рядом с символом города, парашютной вышкой, да еще в двух шагах от Музея Ленина – место, где спекуляция недопустима. Кто-то это кому-то ясно объяснил, и как-то, придя на бульвар, я обнаружил аллею пустой. У выхода стояли два знакомых спекулянта, объяснявших приходившим, что собираться теперь будем в парке у детской железной дороги.

Там и собирались обычно. Правда, в начале восьмидесятых по какой-то причине (видимо, погнали и оттуда) пару лет собирались на площади Нариманова. Это в нагорной части города, у памятника Нариманову, одному из первых руководителей коммунистического Азербайджана. От центра города не очень близко, но рядом с республиканским Клубом

книголюбов. И что интересно – в двух кварталах от огромного здания ЦК Компартии Азербайджана.

Место было не очень удобное: на землю книги не положишь, тротуар довольно узкий, приходилось сновать в толпе и смотреть, что у кого в руках. Оттуда тоже порой гоняли, но как-то лениво. Там, на черном рынке, году, кажется, в 1983 родился бакинский Клуб любителей фантастики. Это было время, когда в СССР клубы любителей фантастики (КЛФ) разрастались, как на дрожжах. На черном рынке появились первые фэнзины – самиздатовские сборники, напечатанные ротاپринтным способом. Свои фэнзины выпускали большие КЛФ: ростовский, например, николаевский, еще какие-то... Клубы начали присуждать премии авторам фантастики, и в 1982 году я тоже удостоился премии «Великое кольцо» – эта премия присуждалась голосованием всех клубов. Получил я ее с формулировкой «за наибольшую популярность среди читателей», узнал об этом на черном рынке из какого-то фэнзина и был немало удивлен, поскольку не подозревал, что хоть как-то где-то популярен: вышло у меня к тому времени десяток рассказов, какая тут популярность...

Но в Баку клуба не было. Конечно, на черном рынке тусовались и любители фантастики. В принципе, мы друг друга знали, но чисто визуально и не всех по именам. Если человек не желал представляться, его не спрашивали. Дело было не просто в демократичности книжного сообщества, но и в том, что среди нас (и все это знали) паслись и филеры, причем не только из милиции (вычисляли спекулянтов), но и из конторы глубокого бурения (вычисляли диссидентов и неблагонадежных). Поэтому друг другу особенно не доверяли, разве уж совсем проверенным...

Как-то кто-то принес на черный рынок издательские планы. Каждое советское издательство выпускало списки книг – планы выпуска на будущий год. Большой дефицит, кстати – издательские планы обычно не продавали, каждый

книголюб (да и простой спекулянт тоже) предпочитал держать их у себя, чтобы знать, какие ожидаются новинки. Но на черный рынок приносили, показывали, давали подержать в руках. Однажды кто-то принес план издательства «Знание» на 1983 год. Там значилась моя первая книга, в плане у нее было название «Крутизна», так называлась заглавная повесть. Издательский план передавали из рук в руки, посмотрел и я, убедился, что книга действительно в плане (правда, на самом деле вышла она не в 1983, как намечалось, а год спустя). А один из «наших», найдя страницу с объявлением о «Крутизне», принялся объяснять, что «этот Амнуэль бакинец, у него в журналах рассказы выходили». «Знаем, – пошли разговоры, – он сейчас чуть ли единственный фантаст в Баку остался. Войскунский уехал, Лукодьянов умер, Альтов и Журавлева фантастику забросили...»

Любопытно было все это слушать и даже поддакивать, но тот, кто принес издательский план, вдруг говорит: «А почему бы нам не сделать Клуб любителей фантастики? И Амнуэля позвать в председатели». Впоследствии я узнал, что этого человека звали Толик Мирзоев, а другой знакомый по черному рынку (потом я узнал, что его зовут Гена Карпов) подхватил: «Да, пора сделать клуб, но как Амнуэля найти? Ни адреса, ни телефона»... «А может, он тоже сюда приходит?» – задал кто-то риторический вопрос. Я принялся понемногу выбираться из толпы и таки сбежал в тот день, ушел, как говорят, в несознанку.

Не помню уже, кто и как открыл мое инкогнито. Может, сам я и признался – мне тоже хотелось, чтобы бакинские любители фантастики собирались не на улице (часто в плохую погоду, бывало и под дождем, когда книги приходилось прятать в портфелях, дипломатах или за пазухой), а в нормальной обстановке. Как бы то ни было, инкогнито было раскрыто, и решили мы обратиться официально в Республиканский Клуб книголюбов с просьбой организовать секцию

фантастики. Клуб книголюбов был тогда в Баку организацией уважаемой, у книголюбов даже было свое помещение, где они официально обменивались книгами (не дай бог, не продавали, конечно!). Председателем Клуба была известная



Члены Бакинского КЛФ «Зодиак» перед зданием, где проходили заседания.

в Баку женщина, Тамилла Салахова, сестра народного художника Азербайджана Таира Салахова. Салахов имел в республике огромный вес и влияние, сестра этим пользовалась – в том числе и на благо любителей книги.

Нам выделили комнату в помещении Республиканского клуба книголюбов, и бакинский КЛФ «Зодиак» начал собираться дважды в месяц вполне официально. Но история бакинского КЛФ – все-таки другая история, о ней тоже можно много рассказывать, а пока вернусь к черному рынку.

Место для черного рынка в парке у детской железной дороги было идеальное. Во-первых, там на самом деле было два парка – через дорогу один от другого. По дороге проходил трамвай, по одну сторону был парк, где располагалась дет-

ская железная дорога, по другую – аллеи парка имени Рихарда Зорге, где располагалась детская площадка: качели, карусель... Можно было не только книги купить, но и покататься на детской железной дороге, на качелях-каруселях. И с точки зрения тактики место было хорошее. По трамвайной линии проходила граница между двумя милицейскими «зонами влияния». За «железнодорожный парк» отвечало одно отделение милиции, за парк Зорге – другое. Поэтому, если начиналась облава (как же без них?), кни-



Заброшенный парк около детской железной дороги.

голубы быстро собирали вещички и – через дорогу, в зону влияния соседнего отделения. Милиционеры границы соблюдали и на чужой участок не посягали. Так, бывало, за день перебежали раза три-четыре.

И если говорить о книжных спекулянтах, то надо рассказать и о Саше, «поставлявшем» мне журналы «Искатель», по три рубля за номер (стоил журнал 60 копеек). На черный рынок он не ходил, боялся попасться с поличным. Когда он

получал (от знакомого киоскера, скорее всего) очередной номер, то звонил мне и таинственным голосом назначал время и место встречи. Место всякий раз было другое, обычно неподалеку от какой-нибудь станции метро. Встречаясь, он вел себя согласно канонам плохого советского шпионского романа: появлялся будто ниоткуда, оглядывался по сторонам, быстро вел меня в какой-нибудь закуток, доставал из под полы (если зимой) или из дипломата (если летом) экземпляр журнала, зыряка при этом глазами по сторонам, я совал ему в руку трешку (неприменно без сдачи), и Саша исчезал так же быстро, как появлялся.

Иногда он приносил не только журнал, но и книгу фантастики из зарубежной серии издательства «Мир». В результате у меня появилась полная библиотека «Искателей» лет за двадцать и практически все томики «Зарубежной фантастики». Жаль, конечно, что «Искатель» пришлось подарить друзьям перед отъездом, но ведь всего с собой не увезешь. Зато «Зарубежную фантастику» удалось сохранить.

* * *

Две библиотеки сопровождали меня по жизни последние лет сорок. Первая – в Баку, вторая – в Израиле. Первая – районная библиотека имени Абилова, которая располагалась в маленьком одноэтажном домике в бакинском Пятом микрорайоне. Чтобы попасть туда, нужно было точно знать, где библиотека находится, потому что ориентироваться в довольно хаотичном расположении «хрущевок» было затруднительно, а стрелок-указателей не было в помине. Тем не менее, читателей в библиотеке было довольно много – несколько тысяч.

Жили мы тогда во Втором микрорайоне, от Пятого и от библиотеки минут десять пешком. А в жизнь мою эта библиотека вошла потому, что там после окончания института стала работать библиотекарем моя жена Аня. История обыч-

ная: училась она на заочном отделении исторического факультета Азербайджанского Педагогического института имени Ленина, работу нужно было искать самим, а какая в Баку работа для историка? Найти работу, тем более по специальности, было трудно и при советской власти – несмотря на как бы отсутствие безработицы в СССР. Устроиться оказалось возможно лаборанткой в школе в поселке Разина, куда от дома нужно было добираться (в том числе электричкой) часа два. Естественно, старались найти что-нибудь поближе – понятно, что не по специальности, но хоть что-то...

И тут повезло. Не помню кто из знакомых сказал, что в районной библиотеке имени Абилова нужна библиотекарша. Та, что там работала, ушла то ли в декрет, то ли на пенсию. Жену познакомили с директрисой, они друг другу понравились, и на следующий день всё было оформлено. С того дня лет на двадцать эта библиотека стала для меня если не вторым домом, то, во всяком случае, местом, где я бывал чаще, чем где бы то ни было, кроме, естественно, Института физики. Работала библиотека с 11 до 19 часов, выходной – вторник. И потому по воскресеньям мы с детьми (сначала с дочкой, а потом и с сыном) бывали сначала (до полудня) на книжном рынке, а к вечеру шли через дорогу в Пятый микрорайон, в библиотеку, «к маме», и, когда библиотека закрывалась, вместе возвращались домой.

Места в библиотеке было немного – даже меньше, чем в библиотеке обсерватории. Читальный зал – шесть столов и несколько стеллажей для журналов и газет – был достаточно вместительный, там обычно больше двух-трех читателей не бывало. А вот для книжного фонда места не хватало постоянно. Это была небольшая комната, не больше 30 квадратных метров. Что там можно было разместить? А книги из городского библиотечного коллектора поступали каждый месяц. Приходилось старые книги списывать – правда, списывать было что, и без особого сожаления. Естественно, прежде всего списы-

вали книги советских авторов, которых сейчас никто не помнит, да и тогда не старались запоминать. А ведь добрая половина издательских планов (если не больше) была заполнена такой «литературой», которую в библиотеке никто никогда не спрашивал. Как бы то ни было, книжные новинки в библиотеке были – причем именно те, что меня, в частности, интересовали. Библиотека получала все издательские планы, как московских издательств, так и республиканских, и даже некоторых региональных. Просматривали их внимательно – прежде всего, конечно, Хатира, которая занималась в библиотеке комплектацией фонда и оформлением поступавшей литературы. Потом планы попадали к нам с женой (она работала на книжной выдаче), и мы тоже отмечали все, что считали нужным. Последней смотрела планы библиотекаря из читального зала. Сначала (года два) это была Сабуха, потом она вышла замуж, и муж запретил ей работать в таком месте, как библиотека, где бывают мужчины (восток – дело тонкое!). Света, пришедшая на место Сабухи, была не замужем, да и выйди она замуж, муж вряд ли смог бы ею покомандовать, не тот характер.

В читальный зал поступали практически все центральные (московские и ленинградские) журналы, начиная от «Нового мира» и кончая «Работницей». Из республиканских был, конечно, «Литературный Азербайджан», помню еще «Звезда Востока», «Дон»...

В общем, проблем с чтением не было – были проблемы со временем. Перечитать все, что хотелось (включая журналы!) было невозможно, приходилось выбирать. Но уж фантастику я читал всю. Любопытно, что республиканским и региональным журналам время от времени позволяли печатать то, что не выходило в Москве. Скажем, Агату Кристи в СССР почти не печатали, первые ее книги начали выходить только в годы перестройки, а до того было опубликовано лишь несколько романов в книжной серии «Зарубежный детектив». Между тем, в «Литературном Азербайджане» каждый год появля-

лось несколько переводов – именно там я прочитал «Карты на стол», «Смерть в облаках» и многое другое. И Чейза «Литературный Азербайджан печатал», когда его в Москве даже в сборниках не издавали.

Многие годы коллектив библиотеки (четыре женщины, включая директрису) не менялся. Часто слышу, что женский коллектив – это еще тот клубок противоречий. Но там этого не было. Спорили, конечно, я и сам, бывало, подключался, но спорили вовсе не по личным вопросам, не потому, что кто-то кем-то был недоволен. Было о чем поговорить – о книгах тоже, конечно.

Единственный минус библиотечной работы – маленькие зарплаты. Как платили 120 рублей в начале семидесятых, так и продолжали платить, ни на копейку больше.

* * *

В 1990 году мы уехали в Израиль и первые два года снимали квартиру в Иерусалимском квартале Неве-Яаков. Сначала учились в ульпане (курсах по изучению иврита), а потом начались поиски работы. Я ездил по университетам, выступал на семинарах, разговаривал с астрофизиками, объяснявшими, как трудно нынче с работой, денег у университетов не хватает. Через год я все же получил стипендию от министерства науки и три года проработал в Тель-Авивском университете. Аня, жена, пыталась устроиться через бюро по трудоустройству, но ничего не получалось, и настроение было, надо сказать, не радостным. Как-то, слушая дома «русское радио», она услышала выступление новой репатриантки Клары Эльберт, рассказывавшей о своей библиотеке, которую она привезла в Израиль. Не так уж много книг – пару сотен, кажется. И появилось у Клары желание устроить библиотеку в Иерусалиме. Она договорилась с руководством Русского культурного центра, что располагался в центре Иерусалима, на улице Штраус, и ей выделили комнатку в подвале. Ничего не

платили, конечно, и не собирались. Сказали: вот помещение, можете держать там книги, давать их читать, создавайте библиотеку на свой страх и риск. «Пожалуйста, – говорила Клара в своем выступлении на радио, – если кто-нибудь может прийти и помочь, буду очень благодарна». Аня работала в библиотеке Абилова почти двадцать лет – и, конечно, отправилась помочь. Ни на что не рассчитывая – делать-то все равно было нечего.

Через несколько месяцев книги в подвале уже не умещались. Кто-то подарил свою домашнюю библиотеку, кто-то приносил по одной книге, а еще Сохнут (Еврейское Агентство) поделился своими «сокровищами»: многие репатрианты отправляли перед отъездом в Израиль через Сохнут свои книги – почтой до востребования, чтобы на исторической родине книги получить и поставить на полку. Отправлять отправляли, но получать приходили далеко не все.



С Кларой Эльберт.

Обстоятельства складывались у людей по-разному, многим на новой родине было не до книг. Бандероли и посылки лежали на почте положенное время, а потом их передавали в Сохнут или выбрасывали. Эти посылки и поступали в распоряжение Клары, пополняя фонд будущей библиотеки. Кроме Ани, с Кларой работали еще три новые репатриантки, и через несколько месяцев волонтерства (работали они фактически полный рабочий

день) им начали, наконец, платить – шекелей по двести в месяц (тогда это было около ста долларов), больше денег у

Культурного центра не было.

Когда Культурный центр готов был уже отказаться от набиравшей популярность русской библиотеки («ноша» оказалась ему не по силам), на помощь пришел Сионистский Форум, во главе которого стоял бывший политический заключенный и борец за права евреев в Советском Союзе Натан Щаранский. Библиотека, в которой насчитывались уже десятки тысяч томов, перешла под крыло Сионистского форума, и Клара с сотрудницами, наконец, стали платить приличную по тем временам зарплату – как говорил персонаж Басиллашвили в фильме Рязанова «Небеса обетованные»: «маленькую, но хорошую». Форум даже снял для библиотеки довольно большое помещение в самом центре Иерусалима, на улице короля Георга V. Это уже была «настоящая» библиотека: с большим читальным залом, комнатами фонда, выдачи и приема книг, комнатой для работы с новыми поступлениями. Число читателей увеличивалось с каждым днем и очень быстро перевалило за тысячу.

Клара обладала (впрочем, почему в прошедшем времени – она и сейчас такая!) неумной энергией. Сначала она задумала проводить в библиотеке обсуждения прочитанных книг, потом появились секции по интересам: клуб библиофилов, литературный дискуссионный клуб, клуб поэзии. Проводились презентации книг, встречи с авторами – писателями, приезжавшими в гости из России. Были встречи и с местными авторами: много тогда приехало на постоянное жительство из бывшего СССР людей пишущих или считавших себя пишущими. Каждый стремился выпустить в Израиле книгу, и министерство абсорбции помогало в этом, «даря» новому репатрианту определенную сумму на издание книги. Помощь получали и художники – на приобретение холстов, красок. В библиотеке появились картины, Клара начала устраивать вернисажи. В середине девяностых Библиотека Сионистского Форума приобрела сначала всеизраильскую, а

вскоре и всемирную известность: книги начали присылать из Америки, из стран бывшего СССР.

Тогда же был создан при библиотеке и Клуб фантастики. Любителей фантастики в Израиле оказалось немало – впрочем, в процентах на душу русскоязычного населения, наверно, столько же, сколько и в России. На первых порах Иерусалимский литературный клуб, а при нем семинар фантастики собирался два раза в месяц в квартале художников Емин Моше – очень красивом месте в центре Иерусалима рядом со знаменитой мельницей Монтефиори, откуда открывался замечательный вид на стены Старого города. На наши заседания приходили и «простые» любители фантастики, и известные критики и литературоведы Рафаил Нудельман, Майя Каганская, Зеэв Бар-Селла, Марк Амусин, Илана Гомель, поэт Михаил Генделев, историк Михаил Хейфец.



М. Каганская

Доклады, которые они читали, были необыкновенно интересными, а споры – захватывающими. Устроил и я там презентацию своей первой книжки в Израиле, выпущенной на те самые деньги министерства абсорбции. Денег оказалось не так уж много – хватило на пятьсот экземпляров тоненькой книжечки в тонкой обложке. Как раз тогда я закон-

крывался замечательный вид на стены Старого города. На наши заседания приходили и «простые» любители фантастики, и известные критики и литературоведы Рафаил Нудельман, Майя Каганская, Зеэв Бар-Селла, Марк Амусин, Илана Гомель, поэт Михаил Генделев, историк Михаил Хейфец.

Доклады, которые они чи-



З. Бар-Селла и Д. Клугер

чил первую свою «израильскую» повесть «День последний – день первый», а издатель Феликс Дектор подготовил книгу к изданию и отпечатал тираж в какой-то московской типографии: там было дешевле. Но и качество издания оказалось соответствующим. Презентацию этой книжки я и устроил в клубе фантастики.



М. Хейфец



М. Амусин

Отзывы были благожелательными, а Майя Каганская в своей обычной парадоксальной манере нашла в тексте гностические корни, а в одном из докладов на заседании клуба заявила, что очень скоро вся литература станет фантастической. Реалистический роман, по ее мнению, уступит место роману фантастическому, этот

процесс уже идет – нынче в практически любом как бы реалистическом («мейнстримовском», как говорят) произведении можно найти какие-нибудь фантастические элементы: в антураже ли, в идее, в сюжетных линиях. Мистика проникает в реализм, и дальнейший ход литературного процесса показал, что Каганская была права и в этом, как, впрочем, и во многом другом.

В центре Иерусалима библиотека Сионистского Форума просуществовала около двух лет. Аренда такого большого помещения оказалась для Форума, в конце концов, делом не-

посильным, вопрос стоял даже о том, чтобы библиотеку вообще закрыть, очень уж она дорого обходилась (большую часть средств отнимала именно аренда). Но библиотека уже в те дни достигла, как я бы сказал, точки невозврата. Можно было легко закрыть маленькую русскую библиотеку и раздать книги по другим библиотекам, которых в Израиле много – это, конечно, библиотеки ивритских книг, есть такие в каждом Клубе культуры и спорта (матнас – на иврите), есть в Иерусалиме и большая городская библиотека. В каждой библиотеке есть небольшой «русский» отдел – обычно книги на русском языке занимают несколько полок, в лучшем случае – один-два стеллажа. Но раздать десятки тысяч уже накопленных книг, распылить их по разным библиотекам – это вовсе не то же самое, что закрыть библиотеку из нескольких сотен томов. В середине девяностых в библиотеке Сионистского Форума были



Библиотека на площади Алленби

большие отделы художественной литературы, научно-технической (по всем разделам науки и техники от философии и математики до биологии и конструирования), старинной, литературы по искусству, редких книг и много чего еще.

Но аренда была действительно очень дорогой, и библиотеку перевели в помещение Сионистского Форума, отдав ей первый этаж красивого трехэтажного здания на небольшой

площади имени генерала Алленби – рядом с Иерусалимской центральной автобусной станцией. Сюда можно было легко доехать из любой части города. Места здесь было меньше, пришлось сильно потеснить собственные службы Форума, но все же был и читальный зал, где можно было проводить различные мероприятия.

Именно там, в помещении Форума, культурно-просветительская деятельность библиотеки достигла апогея – вечера, встречи, обсуждения, презентации проводились практически каждый вечер. Планы с тех пор составляются на месяцы вперед, каждый месяц Клара заказывает в типографии сотни листов с библиотечными планами.

Тогда же и Клуб фантастов пережил своей расцвет. Собирались мы по-прежнему дважды в месяц, меня выбрали председателем, к нам на заседания приезжали не только иерусалимские жители, но и из других городов – из Тель-Авива, Беэр-Шевы, Кирьят-Арбы... Несколько раз к нам на заседания, когда были интересные ему обсуждения, приезжал посол России в Израиле Александр Бовин – сидел тихо за одним из последних столов, внимательно слушал.



А. Бовин на заседании клуба.

Олег Свердлов, который до репатриации был очень активным фэнмом у себя на родине, в Саратове, и здесь занялся делом: выпускал ежемесячный бюллетень новостей фантастики «Вести ниоткуда», открыл клубную страницу в Интернете, тогда еще да-

леко не таком популярном, как в наши дни.

В 1994 году в Израиль переехал из Симферополя писатель Даниэль Клугер, работавший директором Крымского филиала московского издательства «Текст». Даниэль и в Израиле решил заняться знакомым ему делом – книгоизданием. Это были годы, когда русских книжных магазинов в Израиле становилось все больше, причем старые, много лет просуществовавшие магазины, такие, как «Болеславский», «Лепак», «Книжная лавка» не выдерживали конкуренции и закрывались, а новые плодились, как грибы после дождя.

Начать свою издательскую деятельность Даниэль решил с малого – с издания журнала фантастики. Так в 1995 году родился журнал «Миры», который я могу с полным правом назвать также и детищем библиотеки Сионистского Форума: именно там, на наших заседаниях, и потом, вдвоем, мы обсуждали с Даниэлем идеологию издания, графику, выбирали название, искали и сами писали фантастику. Я никогда прежде не писал романов и не собирался это делать: чтобы написать роман, а не длинную повесть, нужно особое «романное» мышление, которого у меня не было и, как я думаю, нет и сейчас. Но была фантастическая идея, которой я как-то поделился с Даниэлем, и он сказал, что это тема для романа, а не повести. Так начал понемногу «вырисовываться» роман «Люди Кода». В первом номере «Миров» была опубликована первая часть романа, и в каждом следующем номере – следующая часть. Были в журнале произ-



ведения Даниэля («Чайки над Кремлем»), Александра Рыбалки («Первый день нисана»), Леонида Резника («Ангел смерти с дрожащими руками»), переводы с английского, очень интересные и, как всегда, парадоксальные аналитические эссе Рафаила Нудельмана, Зеэва Бар-Селлы, Иланы Гомель...

Первый номер «Миров» отпечатали тиражом в тысячу экземпляров в иерусалимской типографии «Ной», мы погрузили это богатство в грузовик и отвезли домой к Даниэлю, в Реховот. И что дальше? Журнал нужно было продать, а распространением газетно-журнальной продукции в Израиле занимались (и сейчас занимаются) два конкурирующих агентства – «Бар» и «Гад». Распространяли они, в основном, газеты со всеми приложениями. Мы обратились в оба агентства, представили экземпляры журнала, нас вежливо выслушали – и распространять журнал отказались. Невыгодно, слишком маленький тираж. Прибыль, если вообще будет, то мизерная, не стоит и возиться.

Пришлось продавать журнал самим. Полторы сотни экземпляров Даниэль отправил в Москву Саше Каширину, который в те годы имел свой книжный магазин фантастики. Это полторы сотни Саша быстро распродал, но Даниэлю, как издателю, пользы от этого было мало – практически весь доход «съела» пересылка журналов в Москву. А в самом Израиле нам удалось договориться только с несколькими книжными магазинами, где продали несколько десятков экземпляров. Еще несколько десятков продали на презентациях, которые мы с Даниэлем устраивали в разных городах – от Ашдода до Хайфы. Презентации себя и вовсе не оправдывали – на переезды приходилось тратить больше денег, чем Даниэль потом выручал от продажи нескольких экземпляров.

В газетах появились благожелательные рецензии на журнал (впрочем, и резко критическая рецензия тоже была – в «Новостях недели»). Но положение это не спасало – издание оказалось очень убыточным. Любителей фантастики во всем

Израиле наверняка не меньше тысячи. Многие из них, возможно, и купили бы журнал, но где? Если потенциальный читатель живет в Кирьят-Моцкине, Араде, Модиине, а журнал можно купить только в иерусалимском магазине «Золотая карета»? Не поедет же человек специально за сотню километров, чтобы купить журнал...

Когда через три месяца пришла пора делать второй номер, стало ясно, что тысячу экземпляров выпускать бессмысленно. Второй номер вышел тиражом в семьсот экземпляров, но и их не удалось распродать. Тираж третьего номера был пятьсот, а четвертого – триста экземпляров. После чего Даниэль подсчитал, в какую копеечку влетела ему эта издательская инициатива, и понял, что делать пятый номер – чистое безумие. Дома у него лежали пачки нераспроданных журналов, и было понятно, что распродать их уже не удастся.

Тогда Даниэль решил переключиться на книги – для начала издать моих «Людей Кода». Пятая часть романа так и не вышла в «Мирах». Потом Даниэль намеревался издать свою книгу, а дальше видно будет.



«Люди Кода» вышли тиражом 500 экземпляров, которые,

в конце концов, за несколько лет были все-таки распроданы. Но невозможно вести бизнес, если вложенные деньги возвращаются (только возвращаются, не принося никакого дохода) через несколько лет! Вторая книга – Даниэля – так и не увидела света.

К библиотеке Сионистского Форума эта попытка издательской деятельности имела, конечно, косвенное отношение: на заседаниях клуба фантастики мы бурно обсуждали все материалы, помещенные в каждом номере, верстал журнал Олег Свердлов, в библиотеке проводили презентации каждого номера. И презентация «Людей Кода» прошла там же.

На первые наши заседания приходило порой до 30-40 человек. Кто-то как-то сказал, что это мало. В Москве, мол, в клуб любителей фантастики, приходило и сто человек, и больше. Так то Москва... Как-то мы сделали простенький подсчет. В Иерусалиме в те годы (при населении около 600 тысяч – не очень большой провинциальный российский город) проживало около 40 тысяч «русских» – выходцев из бывшего СССР. 30 из них посещали наши посиделки – то есть примерно 7 человек на каждые 10 тысяч «русского» населения. В Москве население, говорящее по-русски, составляет миллионов 12, то есть в 1200 больше, чем десять тысяч. И если бы в Москве клуб посещало бы столько же любителей (на душу населения), что у нас, то там их заседания должны были собирать $7 * 1200 = 8400$ человек! Немыслимо много! Там приходило от силы сто-сто двадцать. Поделим на 1200 – значит, при той же посещаемости, что в Москве, на наши заседания должно было являться 0,1 человека...

Все-таки великая вещь статистика! С тех пор никто не жаловался на то, что людей у нас немного. У нас и масштабы другие. Наша столица – Иерусалим – в 20 раз меньше Мо-



С Иланой Гомель
и Олегом Свердловым
перед входом в библиотеку.

сквы, и все население Израиля в 20 раз меньше российского населения.

Библиотека Сионистского Форума в конце девяностых стала самой известной русской библиотекой за пределами России. И вот когда, казалось бы, судьба этой замечательной библиотеки должна была стать безоблачной (огромный фонд, много читателей, множество культурных мероприятий, гости из-за границы...), начались самые большие неприятности. У Сионистского

Форума стало не хватать денег на содержание библиотеки. За пользование абонементом библиотека брала с читателей символическую плату, которой, конечно, ни на что не хватило.

Правда, случилось важное событие: скончался некий богатый еврей, любитель книг, и завещал библиотеке не только свое книжное собрание, но и довольно большую сумму денег. Не миллион шекелей, впрочем, чуть поменьше, но тоже немало. Чтобы не разбазарить эти деньги, а тратить их с толком, организовали так называемую библиотечную амуту. Амута – на иврите – это общественная организация, не извлекающая прибыли из своей деятельности. В Израиле множество амутот, создающихся по разным поводам. Обычно работу амуты спонсирует некий (часто неназываемый) меценат, а занимается амута общественно-полезными

делами: помогает, например, инвалидам. Все деньги мещаната на это и уходят (и еще, конечно, на зарплату работников амуты), прибыль извлекать запрещено законом. Вот и библиотечная амута, дела которой вели иерусалимские адвокаты, занималась помощью библиотеке: денег хватило на покупку книг, частично – на оплату помещений и коммунальных расходов. Клара Эльберт, основатель библиотеки и ее бессменный директор, проявляла чудеса изобретательности, придумывала способы выживания, новые мероприятия, в библиотеке открывалось все больше клубов по интересам, любой приезжавший в Израиль из России или других стран писатель – от начинающих до самых маститых – почитал честью выступить на встрече с читателями Библиотеки Сионистского Форума.

А какие люди приходили в библиотеку, сидели в читальном зале, брали книги в абонементе! Не раз я заставал за столиком Юрия Любимова, Александра Бовина, Владимира Никулина...

Случались и странные истории. Как-то одна из работниц библиотеки, Таня Винокур, отправилась, как она это регулярно делала, в русский книжный магазин – присмотреть для библиотеки новинки. Вернувшись, рассказала мне, что встретила в магазине – подумать только – самого Сергея Лукьяненко! Это было вскоре после того, как вышли из печати два «Дозора» – ночной и дневной, – но еще не был снят фильм. Но и тогда Лукьяненко был уже самым известным, пожалуй, среди российских авторов фантастики.

– Представляете, – с восторгом сказала Таня. – Как простой автор! Стоит и подписывает всем желающим свои книги!

– Точно Лукьяненко? – с сомнением спросил я. По моим сведениям, Лукьяненко в эти дни должен был находиться не в Иерусалиме, а в Питере на конвенте фантастики Интерпресскон.

– Конечно! Я его пригласила на заседание клуба фантастики, и он сказал, что непременно придет!

Заседание нашего клуба должно было состояться в тот же вечер.

– Какой он из себя? – продолжал я свои недоверчивые расспросы.

– Высокий, худощавый, блондин! В общем, Лукьяненко.

Конечно, это был не он. Лукьяненко, может, и высокий, но уж точно не блондин и не худощавый. Пришлось Таню разочаровать.

– Неужели самозванец? – огорчилась она. – Не может быть... Придет вечером, сами с ним познакомитесь.

Вечером мнимый Лукьяненко, конечно, на наше заседание не явился. А историю эту я пересказал, и она немедленно нашла продолжение. К нам, как я говорил, приезжали любители фантастики и из других городов. Из Беэр-Шевы приезжал врач-психиатр Саша Борухов, который узнал в худощавом блондине своего пациента, недавно прошедшего курс лечения и выписанного из психиатрической клиники.

Писательская слава! Раньше психи ощущали себя Наполеонами, а нынче...

* * *

Сионистский Форум переехал из здания на площади Алленби в другое помещение, и особняк остался за библиотекой – все три этажа. Это было замечательно: книги теперь разместились с комфортом, можно было бродить между стеллажами, как в Бакинской Ленинке в дни моего детства. Для математической библиотеки была выделена специальная комната, для журналов и газет – своя. Но за внешним благополучием скрывалась повседневная и долгая борьба за существование. Денег становилось все меньше. Форум, в конце концов, прекратил финансирование. Библиотека в который раз оказалась перед угрозой закрытия. Поговаривали, что фонд разделят на

десятки частей и передадут в другие библиотеки. А что делать с редкими книгами? С научными? С журналами и газетами за многие годы? С уже прославившейся математической библиотекой имени Яглома? Я уж не говорю о сотрудницах библиотеки, среди которых была и моя жена Аня – они остались бы без любимой работы, которой отданы были лучшие годы жизни.

О бедственном положении русской библиотеки писали газеты, о библиотеке снимали телевизионные программы, как-то судьбу библиотеки даже обсуждали на заседании комиссии Кнессета по алии и абсорбции. Мнение депутатов было единодушным: конечно, библиотека должна жить! Это наша национальная гордость! Но... Одно дело: говорить правильные слова, и другое – финансировать работу самой большой в зарубежье русской библиотеки. Муниципалитет Иерусалима готов был позаботиться о книжном фонде – иными словами, раздать книги в другие городские библиотеки. На зарплату сотрудницам денег не было.

Захирел и, в конце концов, закрылся и наш клуб фантастики. Не могу сказать, что конкретно стало главной причиной упадка. Возможно, у любителей стало попросту меньше времени: многие устроились на работу в других городах, после трудного рабочего дня многим хотелось отдохнуть дома, за той же книгой фантастики, а не ехать на другой конец города, чтобы пару часов поговорить на темы, ставшие уже стандартными, с людьми, с которыми, похоже, все уже обсудили, и мнение каждого по любому вопросу было уже известно. Пополнения в клубе не было, а старым членам понемногу стало скучно друг с другом. Наверно, были и другие причины. Наверно, и я в качестве председателя не проявлял нужной инициативы, не придумывал новые формы деятельности. Как бы то ни было, в начале Третьего тысячелетия, того самого, о котором писали фантасты моего поколения, клуб закрылся. Как-то на заседание пришло всего три чело-

века, включая меня. Посидели мы, поговорили и решили, что собирать клуб больше нет смысла. Мы-то втроем и так можем встретиться где угодно и поговорить об интересующих нас проблемах...

В конце концов, с помощью Щаранского (который был уже не председателем Форума, а членом Кнессета и лидером русской партии «Израэль ба алия»), Ларисы Герштейн (которая одно время была заместителем мэра Иерусалима), с помощью многих других людей, имен которых я и не знаю, проблема Русской библиотеки была решена к всеобщему удовлетворению. Муниципалитет Иерусалима принял, наконец, библиотеку на свой баланс, присвоил ей название Русская Городская Иерусалимская библиотека и арендовал постоянное помещение неподалеку от той же площади Алленби, но ближе к центру города, рядом со знаменитым иерусалимским рынком «Махане Иегуда»: двести квадратных метров плюс большая комната для проведения мероприятий и встреч.

Русская библиотека в Иерусалиме и сейчас – место встречи, которое изменить нельзя.

Содержание:

Часть 1	Школьные годы чудесные	5
Часть 2	Кому весело? Нам!	51
Часть 3	Где-то в горах...	75
Часть 4	Счастливое время открытий	105
Часть 5	Дожливый вечер в Баку	123
Часть 6	Эти славные шестидесятые...	151
Часть 7	Избранные места из переписки с редакторами	179
Часть 8	Запах кулис	193
Часть 9	Мои библиотеки	233

ПОВТОРЕНИЕ ПРОИДЕННОГО

«Хорошо иметь память, с детства приспособленную для грядущего писания мемуаров. Или иметь склонность к дневниковым записям. Веди дневник и начни в тот день, когда узнаешь, как пишется буква "А". И лет через пятьдесят, когда возникнет потребность отобразить свое детство в мемуаре, этом мраморе литературных памятников, у тебя не возникнет никаких сомнений... Я не вел в детстве дневник, да и в последующие годы тоже не испытывал желания вести летопись происходивших событий. Поэтому помню немного, и воспоминания возникают спонтанно, как и у большинства людей. Полагается начинать воспоминания с детских лет? Ну, если полагается...»



Издательство «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
WWW.MILKYWAY2.COM